

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Фридрих Вильгельм Ницше Несвоевременные размышления - 'давид Штраус, исповедник и писатель'

Это сочинение является первым по счету в замысленной Ницше сразу по выходе в свет "Рождения трагедии" серии культуркритических эссе, объединенных общим названием "Несвоевременные размышления". Первоначальный замысел Ницше охватывает двадцать тем или, точнее, двадцать вариаций на единую культуркритическую тему. Со временем этот план то сокращался (до тринадцати), то увеличивался (до двадцати четырех). . .

Общественное мнение в Германии как будто бы запрещает говорить о дурных и опасных последствиях войны, а в особенности счастливо оконченной войны; зато, тем охотнее слушают тех писателей, которые не знают другого мнения, кроме того общественного, и соревнуются в восхвалении воина, торжествующе следя за могущественным проявлением ее влияния на нравственность, культуру и искусство. Однако, следует сказать: чем больше победа, тем больше и опасность. Человеческая натура переносит ее труднее, нежели поражение, кажется, даже легче одержать победу, чем вынести ее так, чтобы от этого не произошло еще более сильного поражения. Из всех дурных последствий франко-прусской войны, самое дурное, это распространенное повсюду, даже общее заблуждение, - именно заблуждение общественного мнения относительно того, что в этой борьбе одержала победу также и немецкая культура, а потому она достойна быть увенчана венками соответственно таким необыкновенным происшествиям и успехам. Это заблуждение страшно гибельно не потому, что оно заблуждение, так как существуют очень благодатные и целебные заблуждения, а потому, что оно может превратить нашу победу в полное поражение, в поражение и даже искоренение немецкого духа, на пользу "немецкого государства".

Следует принять за основание, что если две культуры борются между собою, все-таки мерила оценки победителей остаются очень относительными и, при известных обстоятельствах, вовсе не дают права на победное веселье и самовосхваление. Сначала надо знать, что стоит эта побежденная культура: может быть очень мало. В таком случае победа, даже самая блестательная, не дает победившей культуре ни малейшего повода к триумфу.

В данном же случае не может быть и речи о победе немецкой культуры, по самым простым причинам: потому, что французская культура продолжает существовать как и прежде, и мы также зависим от нее как и раньше. Она даже не содействовала военным успехам. Нашей победе содействовали элементы, не имеющие ничего общего с культурой и недостающие нашему противнику: строгая дисциплина, прирожденная храбрость и выдержка, обдуманность предводителей, единодушие и послушание подчиненных. Одному только остается удивляться: именно тому, что то, что в Германии теперь называется "культурой", не стало препятствовать этим великим военным успехам, может быть, потому, что это "нечто", именующее себя культурой, считало более выгодным для себя показаться на этот раз услужливым. Если этому "нечто" позволить вырасти и размножаться, избаловать его лестью, что будто бы оно победило, то оно будет в состоянии, как я сказал, искоренить немецкий дух и, кто знает, будет ли оставшееся немецкое тело еще на что-либо пригодно!

Если возможно возбудить ту спокойную и упорную храбрость, какую немцы противопоставили патетическому и мгновенному воодушевлению французов, против внутреннего врага, против той в высшей степени двойственной и, во всяком случае, ненациональной "образованности" ("Gebildesheit"), которую теперь, с опасным непониманием, называют культурой, то не вся еще утрачена надежда на настоящее немецкое образование, противоположное "образованности", указанной выше, так как у немцев никогда не было недостатка в умных и храбрых предводителях и полководцах, но последним часто недоставало немцев. Возможно ли немецкой храбрости дать это новое направление, становится мне все более сомнительным, а после войны мне по временам кажется даже невероятным, потому что я вижу, как всякий убежден, что вовсе нет надобности в такой борьбе и храбрости, что, наоборот, все так прекрасно устроено и, во всяком случае, все необходимое давно уже изобретено и сделано; одним словом, лучшая смена культуры везде уже отчасти посажена, отчасти стоит в свежей зелени, а кое-где даже и в полном цвету. В этой области существует не только довольство, но и счастье и упоение. Я чувствую это упоение и счастье в несравненно уверенном поведении немецких журналистов, этих фабрикантов романов, трагедий, песен и историй, составляющих по-видимому дружное общество, которое как бы поклялось

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org овладеть досугами и послеобеденными часами современного человека, т.е. его "культурными моментами", чтобы оглушить его посредством печатной бумаги. Теперь после войны в этом обществе сосредоточились все счастье, самосознание и достоинство; после таких "успехов немецкой культуры" оно чувствует себя не только утвержденным и санкционированным, но почти что священным и говорит поэтому торжественнее, любит возвзвания к немецкому народу, издает также как и классики сборники сочинений и рекламирует в своих журналах новых немецких классиков и образцовых писателей, вышедших из их среды. Может быть, следовало бы ожидать, что опасности такого злоупотребления успехом будут признаны более благоразумной и ученой частью немецких образованных людей или что, по крайней мере, они почувствуют всю мучительность этой драмы; что же может быть мучительней, как видеть уродливого напыщенного петуха, стоящего перед зеркалом и восторженно любующегося своим отражением. Ученое сословие охотно допускает все, что случается: оно и без того слишком занято собою, чтобы еще взять на себя заботу о немецком духе. К тому же члены его вполне уверены, что их собственное образование самое лучшее и самое зрелое в наше время и даже во все времена, и не понимают забот об общем немецком образовании, так как они сами и равные им стоят выше такого рода забот. Впрочем, от более внимательного наблюдателя, в особенности если он иностранец, не может ускользнуть то, что разница между тем, что немецкий ученый считает своим образованием, и тем торжествующим образованием новых немецких классиков состоится лишь в количестве знания; всюду, где является вопрос о способности, а не о знании, об искусстве, а не о сведении, т.е. всюду, где жизнь должна свидетельствовать о свойстве образования, существует теперь только одно немецкое образование - и оно ли одержало победу над Францией?

Это утверждение кажется совсем непонятным: самыми беспристрастными судьями, и даже самими французами, было отдано решительное предпочтение более обширным знаниям немецких офицеров, большей обученности немецких солдат и ученому ведению войны. В каком же смысле могла бы победить немецкая образованность, если бы отняли у нее немецкую обученность? Ни в каком; так как нравственные качества строгой дисциплины и спокойного послушания не имеют ничего общего с образованием, например, уже македонские войска далеко превзошли стоявших выше их по своему образованию греческих солдат. Только вследствие недоразумения можно говорить по победе немецкой образованности и культуры, - недоразумения, которое объясняется тем, что в Германии совершенно исчезло чистое понятие о культуре.

Культура, - прежде всего, единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа. Но обладание большим запасом знаний или учения вовсе не есть необходимое средство культуры или признак ее и, в крайнем случае, отлично уживается с варварством, т.е. отсутствием стиля или хаотическим смешением всех стилей.

В таком хаотическом смешении всевозможных стилей и живет современный немец; и остается серьезной проблемой то, каким образом он, при всей своей обученности, не замечает этого и способен от души радоваться своей "образованности". Каждый взгляд на свою одежду, свои комнаты, свой дом, каждый шаг по улицам своего города и каждое посещение магазинов модного искусства - все это должно обучить его; в общественных сношениях он скорее должен был бы понять происхождение своих манер и движений, а в наших художественных академиях, концертах, театрах и музеях сознаться в причудливом смешении всевозможных стилей. Формы, краски производства и курьезы всех времен и стран немец собирает вокруг себя и таким образом составляется эта модная ярмарочная пестрота; их ученые считают это опять-таки "своим новейшим", сам же он остается спокойным, несмотря на всю путаницу стилей. С такой "культурой", представляющей из себя лишь флегматичную бесчувственность ко всякой культуре, нельзя победить неприятеля, а в особенностях французов, имеющих действительную продуктивную культуру, какой бы то ни было цены, и французов, которым мы во всем подражали и притом еще по большей части без всякого таланта.

Если бы мы действительно перестали подражать им, то этим мы еще не победили бы их, а лишь освободились бы от них, и только в том случае, если бы мы навязали им свою оригинальную немецкую культуру, мы могли бы вести речь о триумфе немецкой культуры. Между тем замечаем, что мы и до сих пор еще во всем, что касается форм, зависим от Парижа - и должны зависеть, так как еще до сих пор не существует оригинальной немецкой культуры.

Все это мы должны бы сами знать о себе; к тому же, один из немногих,  
Страница 2

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org имевших право говорить в тон упрека, заявил уже публично: "Мы – немцы прошлого", – сказал однажды Гете Эккерману, хотя мы сильно культивируемся вот уже целое столетие; все же может пройти еще несколько столетий, пока наши соотечественники проникнутся духом, и высшая культура станет у них общей, что о них можно будет сказать: "далеко то время, когда они были варварами".

2

Если наша общественная и частная жизнь, видимо, обозначена признаками продуктивной и стильной культуры и если к тому же наши великие художники признались и признаются в этом ужасном, глубоко постыдном для такого способного народа факте, да еще так твердо и честно, вполне соответственно их величию, как же после всего этого может господствовать между немецкими образованными людьми великое самодовольство, такое самодовольство, которое, по окончании последней войны, поминутно проявляет готовность превратиться в заносчивое ликование и торжество? Во всяком случае, они живут с твердой верой, что обладают настоящей культурой, так как громадный контраст между этой довольной, даже ликующей верой и очевидным дефектом замечается незначительным меньшинством и, вообще, редко. Так как все, что согласно с общественным мнением, закрыло себе глаза, заткнуло уши – в этом случае не должно существовать никакого контраста. Но как же это возможно? Какая сила в состоянии предписать это "не должно"? Какая порода людей господствует в Германии, что она в состоянии запретить такие сильные и простые чувства, или препятствовать их выражению? И эту силу, эту породу людей назову я по имени, это "образованные филистеры".

Слово филистер, как известно, заимствовано у студентов и в обширном, но совсем популярном смысле обозначает противоположность поэту, художнику и настоящему культурному человеку. Но изучать тип образованного филистера и выслушивать его исповедь становится для нас неприятной обязанностью; он выделяется в идее породы "филистеров" одним лишь суеверием; он мнит себя питомцем музы и культурным человеком; это непостижимая мечта, и из нее следует, что он вовсе не знает, что такое филистер. При таком скучном самопознании, он себя чувствует вполне убежденным в том, что его "образование" именно и есть полное выражение настоящей немецкой культуры. А так как он встречает повсюду образованных в его же роде и все общественные заведения, школы и академии устроены соразмерно с его образованностью и потребностями, то он всюду выносит победоносное сознание, что он представитель современной немецкой культуры, и сообразно с этим ставит свои требования и претензии. Если истинная культура предполагает единство стилей и даже плохая и выродившаяся культура немыслима без гармонии единого стиля, то путаница иллюзий образованного филистера происходит от того, что он всюду видит собственное отражение и из этого однообразия всех "образованных" выводит заключение о единстве стиля немецкой образованности, т.е. о культуре. Повсюду вокруг себя он видит одни и те же потребности, одни и те же взгляды. Всюду, куда он вступает, его окружает молчаливое соглашение о многих вещах, а в особенности в вопросах религии и искусства, и эта импонирующая однородность, это непринужденное, но все же сразу выступающее *titti unisono*, соблазняет его верить, что здесь царит культура. Но хотя систематическое, доведенное до господства филистерство и имеет систему, это далеко еще не культура, даже не плохая культура, а только лишь противоположность ей, именно варварство, которое создавалось очень долго. Так как все единство отпечатка, которое так однообразно бросается нам в глаза в каждом современном немецком образованном человеке, становится единством лишь посредством сознательного или бессознательного исключения и отрицания всех художественно-продуктивных форм и требований истинного стиля. В голове образованного филистера произошло, должно быть, несчастное искажение; он считает культурой все то, что она на самом деле отрицает, а так как он действует последовательно, то и получается в конце концов тесная группа таких отрицаний, система антикультуры, которой можно еще приписать своего рода "единство стиля", если вообще есть смысл говорить о варварстве, имеющем свой стиль. Если ему предоставить свободный выбор между действием соразмерно стилю и его противоположностью, то он непременно предпочтет последнее, а поэтому все его действия принимают отрицательной однородный отпечаток. В нем-то он и признает характерные черты патентованной им "немецкой культуры" и в несогласии с этим отпечатком он видит враждебное и противное ему. В таком случае образованный филистер только отклоняется, отрицает, отдаляется, затыкает себе уши и не глядит; он существо, отрицающее даже в своей ненависти и вражде. Но он никого так не ненавидит, как того, кто обращается с ним как с филистером и высказывает ему кто он

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org такой: помеха всех сильных созидателей, лабиринт для всех сомневающихся и заблуждающихся, болото всех утомленных, кандалы всех стремящихся к высшим целям, ядовитый туман всех свежих зачатков, иссушающая пустыня немецкого духа, ищущего и жаждущего новой жизни. Да, он ищет, этот немецкий дух! А вы его ненавидите потому, что он ищет и не желает верить вам, что вы уже нашли то, что он ищет. Как это вообще возможно, что образуется такой тип образованного филистера, и, в случае, если он образовался, каким образом мог он возрасти до такого могущества и стать верховным судьею всех немецких культурных проблем? Возможно ли это после того, как пред нами прошел целый ряд великих исторических личностей, которые во всех своих движениях, во всем выражении лица, в вопросе, которым звучал их голос, и в огненном взгляде, высказывали только одно: они были ищущие, и именно того, о чем образованный филистер думает, что он нашел, именно настоящей исконной немецкой культуры. Казалось бы, что они спрашивали, существует ли земля, такая чистая, нетронутая, такой девственной святости, что только на ней и больше нигде мог бы немецкий дух выстроить свое жилище? С таким вопросом шли они через глуши и заросли грубых времен и стесненных обстоятельств, и, во время своих поисков, скрылись они от наших взоров, так что один из них в глубокой старости, от имени всех, мог сказать: "Целых полвека мне трудно было жить, и я не давал себе ни малейшего покоя, но все стремления, исследовал и работал так старательно, как только мог".

Но как рассуждает там филистерская образованность об этих ищущих? Она их принимает просто за обретших и кажется забывает, что те сами признавали себя лишь ищущими. Ведь мы имеем свою культуру, говорят они, у нас есть свои "классики", и фундамент не тольколожен, но и здание уже давно возведено, - мы сами это здание и при этом филистер показывает на себя.

Чтобы обсуждать так фальшиво и почитать так позорно наших классиков, нужно совершенно не знать их; и это действительно так. Так как, иначе, знали бы, что существует лишь один способ читать их, а именно неустанно продолжать поиски в их духе, не теряя при этом мужества. Наоборот, придавать им сомнительное слово "классики" и, время от времени, "назидаться" их сочинениями, значит, предаться вялым и эгоистическим побуждениям, обещающим вся кому заплатившему наши концерты и театры; воздвигать памятники и называть их именами праздники и клубы, - все это лишь звонкая плата, которой расплачивается с ними образованный филистер, чтобы затем с ними больше уже не зваться, а в особенности, чтобы не следовать им и больше не искать; так как "более не должно искать", - это лозунг филистеров.

Когда-то лозунг этот имел известный смысл; это было в первом десятилетии нашего века, когда в Германии начинались и волновались без всякого порядка такие разнообразные и темные поиски, произведение опытов, разрушение, предчувствие и надежды, что духовному среднему сословию, поневоле приходилось жутко. Оно справедливо отказалось тогда от варева фантастических, искажающих языков, философий и мечтательно-целесознательных исторических наблюдений, карнавала всех богов и мифов, собранных романтиками и вымыщленных в опьянении поэтической модою и безумствованием; справедливо, потому что филистер не имел даже права отступать. Но он воспользовался этим случаем и, с лукавством мелочных натура, возбудил подозрение насчет поисков и предложил найденное как нечто более удобное. Все счастье филистеров открылось его взорам; он спасается от всех произведений опытов в идиллию и противопоставляет беспокойной творческой склонности художника своего рода наслаждение своей собственной узостью, своим спокойствием и даже своей собственной ограниченностью. Его палец, без всякой совести, указывал на скрытые и затаенные уголки его жизни, на множество трогательных и наивных радостей, подобно скромным цветам, выросшим на скучной глубине некультивированного существования и на болотной почве филистерской жизни.

Встречались таланты, которые своей изящной кистью рисовали только счастье, уютность, обыденность, деревенское здоровье и удобство, распространенное в детских, кабинетах ученых и крестьянских избах. С такими раскрашенными книгами действительности в руках, любящие удобство старались навсегда отречься от вдумчивых классиков и от их призыва к дальнейшим поискам. Они выдумывали понятие о веке эпигонов лишь для того, чтобы иметь полный покой и во всех неудобных новшествах иметь наготове оправдательный приговор "эпигонического сочинения". Для того, чтобы оградить свой покой, они завладели самой историей, и все науки, которые могли нарушить их удобства, они старались превратить в исторические дисциплины заодно с философией и классической филологией. Благодаря историческому сознанию они спаслись от

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org энтузиазма, потому что не в этом должна проявляться история, как это осмелился думать Гете, а скорее целью этих нефилософских почитателей *nihil admirari* будет притупление, если они хотят понять исторически. Делая вид, что ненавидят фанатизм и всякого рода нетерпимость, они в сущности ненавидели власть гения и тиранию истинно культурных требований, а потому приложили все усилия, чтобы ослабить, притупить и уничтожить все, откуда можно было ожидать свежих и сильных движений. Философия, скрывшая в причудливых извилинах филистерскую исповедь, изобрела для этого формулу обоготовления обыденного; она проповедовала о разумности всего, о действительности и этим подсуживалась образованному филистеру, который тоже любит причудливые извороты и главным образом считает настоящим одного себя, и только свою действительность принимает за мерило разума во всем свете. Теперь он разрешил себе и каждому немного подумать, исследовать, заниматься эстетикой, в особенности же поэзией и музыкой, а также писать картины и философские произведения. Только, ради Бога, пусть все останется по-старому, пусть ни что в мире не будет поколеблено в "разумном" и "действительном", т.е. в самом филистерстве. Он даже любит время от времени предаваться приятному и отважному распутству в искусстве, и скептической историографии, и ценит прелесть таких объектов развлечений и беседы недешево, но строго отделяет серьезную сторону, "серъез жизни", т.е. призвание, занятие, вместе с женой и детьми от шуток; а к последнему причислять почти все то, что касается культуры. А потому горе тому искусству, которое само начинает серьезно ставить требования и затрагивает его промысел, занятие и его привычки, т.е. собственный серьез филистера; от такого искусства он отворачивается, как от разврата, и с миной целомудренного стражи предостерегает всякую требующую защиты добродетель от взгляда на это.

Он очень красноречив, когда отговаривает, и бывает очень благодарен художнику, если тот его слушает и принимает его советы; ему же он дает понять, что на него будут смотреть легче и снисходительнее и от него, признанного единомышленника, потребуют не превосходных художественных произведений, а только одного из двух: или подражания действительности до обезьянства в идиллиях и добродушных юмористических сатирах, или свободных копий самых признанных и знаменитейших произведений классиков, но со стыдливыми индульгенциями современному вкусу. Если же он ценит только эпигоническое подражание или иконологическую верность современных портретов, то он знает, что последняя прославляет его самого и увеличивает удовольствие от "действительности", а первая ему не вредит и даже способствует славе его имени, как классического судьи и, в общем, не составляет для него никаких затруднений, так как он уже раз и навсегда отказался от классиков. В конце концов он изобретает для своих привычек, образов созерцания, отклонений и покровительств одному общую форму "здравья" и, под предлогом болезни и переутомления, отстраняет всякого неудобного нарушителя покоя. Давид Штраус – истинное выражение состояния нашего образования и типичный филистер – с оригинальным оборотом речи говорит об Артуре Шопенгауэре, об этом "хотя и очень остроумном, но все же нездоровом и бесполезном философе". Это в сущности роковое событие, что "ум" с особенной симпатией останавливается на "нездоровом и бесполезном", и даже сам филистер, если он честно и строго относится к себе, в философских рассуждениях, воспроизводящих его самого и ему подобных, проявляет много бездарной, но зато совершенно здоровой и полезной философии.

Если филистеры и сами по себе будут повсюду предаватьсяupoению и честно, словоохотливо и наивно вспоминать о великих военных подвигах, то всплынет наружу многое, что до сих пор боязливо скрывалось, и нередко один из них выбалтывает основные тайны своего братства. Такой случай произошел недавно с известным эстетиком Гегелевской школы разума. Положим, побуждений к тому было необыкновенно много: целый круг филистеров спрашивали поминки по истинному и настоящему антифилистеру, да еще к тому по такому, который в самом строгом смысле этого слова погиб благодаря филистерам; это было чествование памяти славного Гельдерлина, а по этому поводу знаменитый эстетик имел полное право говорить о трагических душах, погибающих под влиянием "действительности", которую следует понимать в смысле разума филистеров. "Действительность" стала теперь другой и следовало бы поставить вопрос, мог ли бы справиться Гельдерлин в настоящее великое время. "Я не знаю, говорит фр. Фишер, – могла ли бы его душа выдержать столько суворости и испорченности в каждой войне, сколько, как мы видим, размножается после нее на всех поприщах. Он, может быть, опять предался бы безутешности; он был одной из тех невооруженных душ, он был Вертер Греции, безнадежно влюбленный, он был жизнь, исполненная нежности и тоски, он владел и смыслом

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org и силою, величие, изобилие и жизнь были в его стиле, повсюду напоминающем Эсхила. Однако, дух его имеет слишком мало твердости; он не был достаточно вооружен юмором, и не мог примириться с мыслью, что будучи филистером, он вовсе не становится варваром. Нам важна здесь несоболезнующая речь этого оратора, а его последнее признание. Они допускают, что они филистеры, но чтобы они были варварами - никогда. Бедный Гельдерлин не мог, к сожалению, провести такое тонкое различие. Если под словом варварство понимать противоположность цивилизации и даже морских пиратов и людоедов, то такое различие справедливо; но, по-видимому, эстетик хочет нам сказать, что можно быть филистером и одновременно культурным человеком, и в этом заключается весь юмор, недостающий бедному Гельдерлину, от недостатка которого он должен погибнуть.

Тогда же вырвалось у него еще одно признание, что "не сила воли, а наоборот, слабость возносит нас над страстным желанием трагических душ"; это было высказано от имени всех собравшихся "нас, т.е. вознесенных", своей слабости. Будем довольствоваться и этими признаниями! Теперь мы уже знаем от одного посвященного два пункта: во-первых то, что это "мы" вознеслись над желаниями прекрасного, а во-вторых вознеслись посредством слабости. Эта именно слабость раньше, в мене откровенные минуты, носила еще лучшее название; это было всем известное "здравые" образованного филистера. По этому последнему толкованию можно бы позволить себе говорить о них не как о "здравых", а, скорее, как о слабеньких, или, выражаясь сильнее, слабых. О, если бы только эти слабые не обладали силой! Какое им дело, как их называют! Ведь они властвуют, а тот, кто не может снести насмешки, не властвует. Да, только достигнув власти, выучиваешься смеяться над самим собой. Что же за беда в том, что обнаружится что-нибудь; ведь порфира и триумфальное одеяние скрывают все! Сила образованного филистера обнаруживается лишь там, где он сознается в своей слабости, и, чем больше и циничней он сознается, тем яснее выдает он самого себя и показывает, до чего он себя чувствует важным и выше других. Это период цинического признания филистеров. Как Фридрих Фишер в своей речи, так и Давид Штраус в своей книге высказал свои признания; и те слова были циничны, и эта книга признания сплошной цинизм.

### 3

Давид Штраус двояким образом исповедует образование филистеров, а именно словами исповедника и творением писателя. Его книга озаглавлена "Старая и новая вера"; ее содержание и форма изложения - беспрерывное исповедание веры; и уже в том, что он позволяет публично высказывать свою веру, лежит исповедание.

Каждый может иметь право писать свою биографию, прожив лет сорок, потому что и самый ничтожный человек может видеть и близко переживать нечто такое, что для мыслителя весьма ценно и достойно внимания, но исповедываться в своей вере должно несравненно взыскательный, так как предполагается, что исповедник ценит не только одно то, что он пережил и видел, а также то, во что он верил. В конце концов настоящий мыслитель пожелает узнать, что же именно служит предметом верований таких штраусовских натур и что они "сочинили в своих плумечтаниях" (стр. 10) о вещах, о которых имеет право говорить лишь тот, кто узнал их из первых рук. Если бы кто имел потребность справиться о вероисповедании Ранке или Моммзена, которые были совершенно иными учеными и историками, чем Штраус, и если бы они вздумали говорить нам о своей вере, а не о научных познаниях, то они, к сожалению, вышли бы из своих пределов, - так поступает и Штраус, говоря о своей вере. Никто не имеет желания узнать о ней хоть что-нибудь, разве только некоторые ограниченные противники штраусовских познаний, предчувствовавшие в них истинно катаринские догматы и желающие, чтобы Штраус оповещением таких катаринских мыслей компрометировал бы свои предположения. Может быть, эти грубые молодцы и нашли для себя пользу в этой книге, но мы, остальные, не имеющие повода предполагать такие катаринские мысли, не нашли ничего подобного, и вовсе не были бы слишком недовольными, если бы нашли здесь нечто катаринское. Потому, что, подобно Штраусу, который говорит о своей новой вере, не может говорить злой дух, да и вообще никакой дух, а менее всего истинный гений. Так говорят только люди, выведенные Штраусом своими "мы", люди, рассказы которых об их вере томят нас более, нежели рассказы о чьих бы то ни было грезах, "ученых или художников, чиновников или военных, промышленников или помещиков, которых считают в стране тысячами и не самыми дурными". Если они не хотят остаться тихими в стране и городе, а желают оглушать своими признаниями, то и весь шум их единогласия не мог бы

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org обмануть относительно нищеты и пошлости мелодии, которую они поют. Может ли что-либо быть для нас более благоприятным, чем услышать, что признание, разделяемое многими, такого свойства, что мы каждому из этих многих, желающему высказать его нам, не даем договорить и, зевая, прерываем его рассказ. Если ты разделяешь взгляд на такую веру и если наше назначение установить ее, то, ради Бога, берегись и не выдай себя. Может быть, были и раньше такие простаки, искающие в Давиде Штраусе мыслителя, теперь же они нашли в нем верующего и разочаровались. Если бы он молчал, то остался бы по крайней мере для них философом, теперь же он не признается таковым никем; но его вовсе и не прельщает название мыслителя, - он хочет быть неофитом веры и гордится своей "новой верой". Высказывая ее письменно, он полагает, что написал катехизис "современных идей" и проложил "мировую дорогу будущности". Да, на самом деле, наши филистеры уже более не стыдливы, не робки, а самоуверены до цинизма. Было время, но оно уже далеко, когда его терпели, как нечто безмолвное, и о нем не говорили, но опять-таки было время, когда сглаживали его морщины, находили его смешным и говорили о нем. Мало-помалу он стал фатом и от души радовался своим морщинам и непоколебимо честным принципам; теперь он сам говорит в духе дилетантской музыки Риля. "О, что я вижу? Сон это или действительность? Каким широким стал мой размах. Теперь он катится уже, как бегемот, по мировой дороге будущности", - и из его ворчания и ржания образовался гордый тон основателя религии. Может быть, вам, господин мастер, остается основать новую религию? "Мне кажется, что время еще не пришло (стр. 18). Я даже вовсе не думаю разорвать какую-либо церковь". Но почему же, господин магистр? Дело ведь только в том, возможно ли это? Впрочем, говоря правду, вы ведь сами верите в то, что вы это можете; взгляните лишь на вашу последнюю страницу. Там, как вы знаете, ваш новый путь есть "единственная мировая дорога к будущности, которая, только местами, вероятно, совершенно готова и должна быть, главным образом, обезъеждена, для того, чтобы потом стать более удобной и приятной". Не отрицайте же теперь следующего: основатель религии признан; новый, удобный и приятный путь к Штраусовскому раю проведен. Одним только экипажем, в котором должны нас везти, вы, скромный человек, несовсем довольны.

В конце концов скажете: "Я не хочу утверждать, чтобы экипаж, которому доверились мои уважаемые читатели, соответствовал бы всем требованиям" (стр. 367), - напротив, чувствуешь себя совершенно разбитым. Ах, вы галантный основатель религии, вы хотите услышать что-нибудь приветливое! А мы вам лучше скажем нечто правдивое. Если вам, читатель, распределить эти 368 страниц вашего катехизиса так, чтобы каждый день читать одну страницу, т.е. в самых малых дозах, то мы думаем, что он в конце концов будет чувствовать себя скверно, а именно от злости, что не осталось никакого впечатления. Напротив того, глотайте смелее, как можно больше за раз, так говорит рецепт всех современных книг. В таком случае выпитое не может вредить и пьющий будет себя чувствовать не худо, а весело и приятно, будто бы ничего не произошло, и будто никакая религия не разрушена, не проведен никакой мировой путь, не сделано никакого признания - вот это я называл действием. Все забыто: и доктор, и лекарство, и болезнь! Затем веселый смех! Постоянное побуждение к смеху! Право, вам можно позавидовать милостивый государь, потому что вы основали самую приятную религию, именно ту, основатель которой почитается за то, что подвергается постоянным насмешкам.

4

Филистер, основатель новой религии будущности, это новая вера в самом выразительном изображении; филистер, превратившийся в мечтателя, это неслыханный феномен, являющийся отличительной чертой современных немцев. В отношении этой мечты оставим пока известную степень осторожности, никто иной, как сам Давид Штраус, посоветовал нам такую осторожность в следующих мудрых изречениях, в которых мы должны подразумевать не самого Штрауса, а основателя христианства (стр. 80): "мы знаем, что существовали благородные и остроумные мечтатели, а мечтатель может возбуждать, возвышать и даже действовать исторически весьма продолжительно; но проводником мы его не пожелаем избрать. Он сведет нас с истинного пути, если мы не подвергнем его контролю нашего разума". Еще больше мы знаем: мы знаем, что могут существовать глупые мечтатели, не возбуждающие, не возвышающие, но имеющие надежду стать вождями в жизни, действовать исторически и продолжительно, и обладать будущностью; и поэтому мы имеем больше причин подвергать их мечтания контролю нашего разума. Лихтенберг даже предполагает, что "существуют бездарные мечтатели, очень опасные люди". Пока мы требуем от

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org этого контроля разума лишь частичного ответа на три вопроса. Во-первых – как представляет себе последователь новой веры небо? Во-вторых – как велико мужество, которое внушается ему новой верой? И в-третьих – как пишет он свои книги? Штраус-исповедник отвечает на первый и второй вопрос, а Штраус-писатель – на третий.

Небо исповедующих новую религию должно находиться, конечно, на земле, так как христианские "надежды на бессмертную, загробную жизнь, вместе со всеми другими утешениями, безвозвратно исчезли" для того, кто "хотя бы только одной ногой" стоит на точке зрения Штрауса (стр. 364). Это что-нибудь да значит, если какая-нибудь религия так или иначе воображает себе небо, и если правда, что христианская религия не знает другого занятия кроме музыки и пения, то это не может служить утешением для штраусовского филистера. В книге признаний есть одна райская страница – страница 294. Главным образом разверни этот пергамент, осчастливленный филистер. В нем все небо опускается к тебе. "Мы хотим только намекнуть, как мы действуем, – говорит Штраус, – и как мы действовали долгие годы. Рядом с нашим призванием – ведь и мы принадлежим к разным видам призываний, – не одни только учёные и художники, но и чиновники и военные, промышленники и помещики, и, еще раз повторяю, нас не мало, а много тысяч, и мы не из худших в стране; итак, рядом с нашим признанием, говорю я, мы стараемся иметь ум как можно более открытый для всех высших интересов человечества; в последние годы мы принимали живое участие в великой национальной войне и в восстановлении немецкого государства и чувствуем себя в этой, столь неожиданной и счастливой перемене судьбы нашей много пережившей нации, возвышенными духовно! Понимаю этого мы помогаем нашими историческими трудами, которые теперь сделались легки и для неученого человека, так как существует целый ряд исторических сочинений, написанных в национальном духе; кроме того, мы стараемся расширить наше естествознание, и в этой области у нас тоже нет недостатка в популярных пособиях, наконец, в сочинениях наших великих писателей и, при исполнении произведений наших знаменитых виртуозов, мыходим поощрение и для духа и для мужества, для фантазии и юмора, поощрение, не оставляющее желать ничего большего. Так мы живем, как благодетельно проводим жизнь".

"Вот наш человек!" – восклицает филистер, читая это, потому что мы действительно так живем и все время так. И как хорошо умеет он описать положение вещей. Что иное может он, напр., понимать под историческими произведениями, которыми мы помогаем пониманию политического положения, как не чтение газет? Что иное, как не ежедневное посещение пивной, подразумевает он под принятием живого участия в созидании немецкого государства? А прогулка по зоологическому саду? Не есть ли она простое "популярное пособие", которым мы распространяем наше естествознание. Наконец – театры, концерты, из которых мыносим домой "поощрение фантазии и юмора", "поощрение, которое не оставляет желать ничего лучшего... как достойно и остроумно говорить обо всем возбуждающем сомнения. Вот это наш человек, наш, потому что его небо – наше небо!"

Так восклицает филистер, и если мы не настолько удовлетворены, как он, это ему все равно, что мы желали бы знать еще больше. Скампер говорил обыкновенно: "Что нам за дело, пил ли Монтэн красное или белое вино". Но как должны бы мы ценить такое точное объяснение в данном серьезном случае. Как бы нам узнать, сколько трубок выкуривает в день филистер, следя докладам новой веры, какая газета симпатичнее ему за утренним кофе? Это самое горячее проявление нашей любознательности. Только в одном случае мы узнаем больше и, по счастливой случайности, нападем на это учение о небе, именно в тех маленьких эстетических частных квартирах, которые посвящены великим писателям и виртуозам, в которых филистер "развивает" себя, в которых даже, согласно его собственному признанию, "выводятся и смываются все его пятна".

Итак, нам следует смотреть на эти частные квартиры, как на очистительные купели. "Но ведь это только минуты, ведь это случается и имеет силу только в царстве фантазии; коль скоро мы вернемся к суровой действительности и замкнутой жизни, то прежняя нужда обрушивается на нас со всех сторон", – так стонет наш магистр. Воспользуемся этими быстротекущими минутами, которые мы должны коротать в этих квартирах и время покажет нам именно идеальное изображение филистера, иначе говоря, того самого филистера, с которого смыты все пятна и который в настоящее время представляет совершенный, готовый и чистейший тип филистера, с какой бы стороны мы его на разбирали. Говоря серьезно, в данном случае поучительно то, что здесь

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org предлагается: пусть всякий, кто целиком принесен в жертву древу познания, не роняет из рук, не прочитавши этих дополнений, подсанных "нашими великими музыкантами и знаменитыми виртуозами". Вот в этом-то и состоит радуга обетования нового завета и кто разделяет радости при виде этого завтра, "тому вообще не следует помогать и тот, - как говорит Штраус в другом случае, - не мог бы сказать и здесь еще не созрел для нашего основного положения". В этом случае мы достигли кульмиационного пункта неба. Вдохновенное толкование предлагает нам водить самих себя за нос и оправдывается тогда, когда хочет сказать слишком много, начиная самым величайшим удовольствием и кончая всем самым лучшим. Он говорит нам: "Может быть я должен сделаться более словоохотливым, чем в данном случае следует, это читатель должен мне поставить в заслугу, - у кого сердце полно, у того не хватает слов". Он раньше должен быть уверен только в том, что то, что он будет впоследствии читать, не стоит из более старых истин, которые я здесь привел, но написано для данного случая и вполне уместно. Это признание на мгновение приводит нас в изумление.

Какое нам дело, что эти маленькие прекрасные главы написаны заново! да, если бы дело шло только о писании!..

Правда, я хотел бы, чтобы они были написаны на четверть века раньше, тогда бы я знал, почему эти мысли ставят меня в тупик, и почему эти мысли ставят меня в тупик, и почему эти мысли имеют специфический запах новейшей древности. Но что касается того, что написано в 1872 году и уже в том же 1872 году пахнет гнилью, то это для меня непонятно.

Предположим, например, что кто-нибудь при чтении этой главы уснет от ее запаха, что ему приснится? Один мой друг признался мне, так как он это испытал, ему снился кабинет восковых фигур; там стояли классики, тщательно сделанные из воска, они двигали руками и ногами, и при этом внутри их щелкал какой-то винт. Так он увидел что-то наводящее ужас, завешенное листочками и поклевавшей бумагой. У этой бесформенной фигуры изо рта висел ярлык, на котором была надпись "Лессинг". Мой друг хотел подойти поближе и рассмотреть это страшилище; это оказалась гомеровская химера. Спереди это был Штраус, сзади Гервинус, посередине химера, а все вместе Лессинг. Это открытие заставило его страшно вскрикнуть, он проснулся и уже более не читал.

Ах, господин магистр, зачем написали вы подобную гнилую главу?

Правда, от этих писателей мы можем научиться кой-чему новому. Например, через Гервинуса мы знаем, как и почему Гете не был драматическим талантом; мы знаем, что он во 2-ой части фауста вывел только аллегорически-призрачный элемент, что Валленштейн - это тот же Макбет, и что он похож на Гамлета, что читатель Штрауса выбирает новеллы из годов странствования, как невоспитанные дети выковыривают изюм и миндаль из хрупкого пирога, что без всего сильнодействующего и подавляющего не может быть достигнуто никакое полное творчество на сцене и что Шиллер вышел из Канта, как будто бы из холодной ванны. Конечно, все это ново и бросается в глаза, но нам совсем не все равно, бросается ли это в глаза тотчас же; и, конечно, оно настолько ново, что без сомнения никогда не состарится, потому что оно никогда не было юно, но явилось на свет уже состарившимся. Какие мысли приходят в голову людям благочестивым по новому стилю относительно их Небесного царства? И почему они не позабыли хотя бы чего-нибудь одного, когда оно так неэстетично, так суетно и скоропреходяще и носит такой ясный отпечаток нелепости, как, например, некоторые тезисы Гервинуса? Может даже казаться, что известное величие подобного Штрауса и неизвестное ничтожество Гервинуса едва-едва способны перенести друг друга; тогда благо всем благочестивым, благо и нам неверующим, если этот несмущающийся судья искусства будет снова продолжать развивать свой учений энтузиазм и полет мысли, о которых с величайшей точностью говорил четный Грильпарцер, и скоро все небо зазвучит под ударами копыт этого несущегося вскачь воодушевления. Тогда, по меньшей мере, дело шло бы более пылко и более гласно, чем теперь, когда невежественное воодушевление нашего проводника по небу и, основанное только на звуках красноречия его уст, надолго доставляют нам чувство утомления и омерзения. Мне хотелось бы знать, как звучит аллилуя из уст Штрауса. Мне кажется, нужно хорошенько прислушаться, иначе можно услышать вежливое извинение или едва понятную вежливость. Я могу привести в данном случае поучительный и устрашающий пример. Штраус рассердился на одного из своих противников за то, что тот говорит о своих поклонниках перед Лессингом - несчастный видимо ослышался. Штраус, конечно, утверждает, что тот, кто не

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org прочувствовал его простых слов относительно Лессинга, помещенных в № 90, насколько они исходят от горячего сердца, тот полный невежда. Я вовсе не сомневаюсь в горячности его чувств, напротив, это расположение Штрауса к Лессингу я считал чем-то подозрительным.

Это же горячее чувство к Лессингу я нахожу и у Гервинуса, и оно горячо от пота. Конечно, вообще, никто из великих немецких писателей непопулярен так у незначительных писателей, как Лессинг, но, однако, они за это не заслуживают никакой благодарности, потому что, в конце концов, они хвалят в Лессинге? Во-первых, всеобъемлющий талант: он и критик, и поэт, и археолог, и философ, и драматург. Затем "это единство писателя и человека, ума и сердца". Это последнее качество обрисовывает каждого великого писателя и даже незначительного. В результате всякое узкое мировоззрение изумительно совмещается с узким сердцем. Самое первое качество - всеобъемлющий талант сам по себе это вовсе невыдающееся качество, особенно же для Лессинга, - он был только гибельным.

Еще более удивительно у этих энтузиастов-последователей Лессинга то, что они не имеют никакого мировоззрения, никакого чувства на то, что к этой всеобъемлемости Лессинга влекла гнетущая нужда, что этот человек, блеснувший, как метеор, сгорел слишком быстро; эти энтузиасты нисколько не сердились за то, что общее стесненное положение и духовная бедность всех окружавших его и в особенности его учених современников колола, терзала и мучила таким ужасным образом; так что эта хваленая всеобъемлемость должна была быть для него глубочайшим мучением. "Пожалейте же, - восклицает Гете, необыкновенного человека за то, что он живет в такое время, достойное сожаления, за то, что он все время должен был действовать полемически". А вы, мои милые филистеры, разве не смеете думать о Лессинге, не краснея, потому что именно он погиб в борьбе за вашу глупость, в борьбе с вашими смешными предрассудками, подавленный подлостью вашего театра, ваших учених, ваших теологов и при этом он никогда не мог осмелиться следовать тому вечному влечению, для которого он был рожден? Что вы чувствуете при упоминании о Винкельмане, который для того, чтобы освободиться от ваших грациозных дурачеств, отправился к иезуитам, вымаливая у них помощь, и поздний переход которого в другую веру опозорил не его, а вас? Вы не смеете назвать имя Шиллера, не краснея, взгляните на его портрет!.. Блестящий взгляд, который с презрением обходит вас, эти щеки, покрытые смертельной бледностью, разве они вам ничего не говорят?

Для вас это только прелестная, божественная игрушка, которая сломана вами. Возьмите еще, как пример, дружбу Гете, эту полную забот жизни, подвергавшуюся травле до самой смерти; от вас ведь зависело потушить ее как можно скорее. Вы не помогли никому из ваших великих гениев и теперь хотите установить на основании этого догму, что никому не следует помогать. Но ведь для каждого гения вы были тем "препятствием глупого света", о котором упоминает Гете в своем эпилоге к "Колоколу", перечисляя всех по именам; для каждого вы были невольными тупицами, или завистливыми эгоистами, или полными злобы себялюбцами. Против вас писали они свои сочинения, на вас обращали они свои нападки и неустанно трудились с утра до вечера, ведя неумолимую борьбу с вами, посыпали вам благодарность. И вам теперь должно быть позволено хвалить подобных людей, и к тому же еще в выражениях, из которых ясно видно, о ком вы, в конце концов, думаете при этой похвале и которые потому "как горячо рвутся из сердца" что надо быть слишком наивным, чтобы ничего не заметить, к кому относятся, наконец, эти поклоны. "Действительно нам нужен Лессинг" - воскликнул уже Гете, и горе всем честолюбивым магистрам и всему эстетическому небесному царству, когда впервые выйдет на добычу молодой тигр, беспокойная сила которого видна всюду и в напряженных мускулах, и в блеске глаз.

5

Как умен был мой друг, что он не стал больше читать, проникнувшись химерическим чудовищем Штраусовского Лессинга и самого Штрауса. Но мы прочли дальше и добились у привратника-неофита впуска в музыкальную святыню. Магистр открывает, входит туда вместе с нами, объясняет, называет имена; наконец, мы недоверчиво останавливаемся и смотрим на него, думая, не угрожает ли нам то же самое, что пришло во сне испытать нашему бедному другу. Виртуозы, о которых говорит Штраус во все время своей речи о них, производят на нас впечатление фальшиво понятых, и нам кажется, что здесь речь идет о чем-то ином, если не о достойных смеха призраках. Когда он, напр., произносил с тем же пылом, который был нам подозрителен в его

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org похвале Лессингу, имя Гейдна и, ломаясь, выставляет себя жрецом и священнослужителем культа того же Гейдна и сравнивает его (Гейдна) с "праздничным супом", а Бетховена с "конфеткой" (хотя бы в его взгляде на квартетную музыку (стр. 326), то нам одно только ясно непоколебимо: именно то, что его сладенький Бетховен не наш Бетховен, его супный Гейдн не наш Гейдн. Кроме того, магистр находит, что наш оркестр слишком хорош для исполнения его Гейдна и настаивает на том, что только самые краткие дилетанты могут понять эту музыку; это опять-таки признание в том, что они говорят о других художественных произведениях; может быть, о дилетантской музыке Риля?

Но кто же этот Штраусовский сладенький Бетховен. Он, очевидно, написал 9 симфоний, из которых пасторали, при исполнении третьей симфонии, как мы узнаем, его влекло "забыться и искать приключений". Из этого мы должны бы вывести заключение о каком-то двойном существе, полу-лошади, полу-рыцаре. Разбирая известную "Eroica", наш цензор совершенно серьезно прибавляет, что ему не удалось высказать, о чем идет дело, о битвах ли в открытом поле, или в глубине человеческой души. В пасторали есть одна "действительно свирепая буря", которая слишком непонятна, чтобы прервать танец крестьян.

И эта симфония, которая "по меньшей мере самая одухотворенная", вследствие "произвольной привязанности к низменным и тривиальным доводам", как звучит только что приведенный отзыв, такова, что магистру-классику кажется даже, что перед ним парили грубые слова; но он стремится, как он сам говорит, выразить их "с пристойною скромностью". Но нет, наш магистр вместе с теми неправ и еще в одном отношении, здесь он действительно слишком скромен. Кто же должен научить нас относительно сладенького Бетховена, как не сам Штраус, единственный, как кажется, понимающий его? Относительно этого является теперь более сильный довод, обещанный с "пристойною нескромностью", и действительно, как раз относительно девятой симфонии; ведь она наиболее излюблена теми, кто считает "странные гениальны, бесформенное возвышенное" (стр. 359). Конечно, если бы она имела такого критика, какого видели в Гервинусе, именно как подтверждение Гервинусовской доктрины, то он, Штраус, был бы далек от того, чтобы в подобном "проблематическом произведении" искать заслугу "своего" Бетховена. "Ужасно то, - восклицает с глубоким стенанием наш магистр, - что у Бетховена все наслаждения и охотно оплачиваемое удивление должно пасть под влиянием подобного ограничения". Наш магистр действительно любитель граций; они-то ему и рассказали, что шли с Бетховеном лишь небольшое пространство, и что затем он опять потерял их из виду... "Это недостаток, - восклицает он, - но разве можно было думать и верить, что именно он явится еще и преимуществом?" "Тот, кто проведет музыкальную мысль без труда и не переводя духа, исполнит и более трудную, и осуществит более сложную (стр. 355, 356)". Вот так признание, и, правда, не только относительно Бетховена, но само по себе признание "классического прозаика"; его, известного автора, не спускают с рук грации; во все времена, начиная с игр и легких забав, штраусовских забав, и кончая самым серьезным, штраусовским серьезным, они, не смущаясь ничем, остаются при нем.

Он, классический художник, легко и играющи несет свое бремя, тогда как Бетховен выбивается из сил. Он, как кажется, забавляется своим временем; разве же можно подумать, что это недостаток? Конечно, это может быть только у тех, кто считает странное - гениальным, бесформенное - возвышенным, не правда ли, веселый любимец Граций?

Мы не порицаем никого за те произведения, которые он творит в тиши своей каморки или в новом, исправленном раю, но из всех возможных, произведение Штрауса, самое удивительное, потому что он созидает себя на маленьком жертвенном очаге, на который он бросает самые выдающиеся произведения немецкой нации, чтобы их дымом кадить своим кумирам. Представим себе, что было бы, если бы случайно "Eroica", Пасторали и девятая симфония были бы поручены во владение нашему служителю граций, и если бы только от него зависело сохранить картину художника в чистоте, удалив подобные "проблематические произведения". Кто может сомневаться, что он бы не сжег их?

Так поступают постоянно Штраусы нашего времени: они желают знать о любом художнике лишь постольку, поскольку он касается их домашнего обихода, а в противном случае признают только курение фимиама и сожжение ароматов. В этом им должна быть предоставлена свобода, но самое удивительное заключается в том, что общественное мнение об эстетике так бесцветно, шатко

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org и в то же время так заманчиво, что оно без протеста позволяет, чтобы подобная выставка самого жадного филистерства нравилась; оно не чувствует всего комизма той сцены, когда маленький неэстетический магистр сидит в роли судьи Бетховена. Что же касается Моцарта, то, в данном случае, следует признать действительным то, что Аристотель говорит о Платоне: "даже хвалить его не должно быть дозволено дурному". Однако, в этом отношении утрачен всякий стыд, как у публики, так и у магистра; ему позволяют не только открыто откращиваться от величайших и чистейших проявлений германского гения, как будто бы он увидел что-то скверное и безбожное, но даже радуются его неуязвимым признаниям и исповедованию грехов, в особенности когда он каётся не в тех грехах, которые он совершил, а в тех, которые должны были совершить великие умы. Ах, если на самом деле наш магистр прав?! - думают его почтенные читатели, находясь, между прочим, в припадке сомнения; а он сам в эту минуту присутствует там, посмеиваясь, глубоко уверенный в себе, произносит важные речи, проклинает и благословляет, сам снимает перед собой шляпу и каждую секунду готов сказать то, что сказала герцогиня де-Ла-Форт госпоже де-Сталь: "Я должна признаться, мой милый друг, что никто не бывает постоянно так прав, как я!"

## 6

Труп - это прекрасная идея для червяка, а червь - страшная идея для всего живого. Черви представляют себе рай в виде жирного тела, профессора философии в отыскании внутреннего смысла идей Шопенгауэра и пока будут существовать грызуны, будет существовать рай и для них. Поэтому наш первый вопрос будет таков: как представляет себе последователь новой религии свой рай? Ответ на него следующий. Штраусовский филистер распоряжается в произведениях наших великих писателей и виртуозов так, как червь, который живет - разрушая, удивляется - пожирая, и молится - переваривая пищу.

Теперь следует наш второй вопрос.

Где обитает тот подъем духа, которым наполняет новая религия своих верующих? И на этот вопрос был бы готовый ответ, если бы подъем духа и нескромность были бы одно и то же, потому что тогда у Штрауса не было бы ни малейшего недостатка в действительном и настоящем мужестве мамелюка, и эта достойная скромность, о которой Штраус говорит в вышеупомянутом отрывке о Бетховене, есть только стилистический, а не моральный оборот. Штраус попутно принимает участие в смелых подвигах, на которые отваживается всякий прославленный победами герой; все цветы распускаются лишь для него, для победителя, и он хвалит солнце за то, что оно вовремя освещает именно его окна. Даже старую почтенную вселенную он не оставляет без похвалы, как будто бы этою похвалой она была освещена впервые и с этих пор должна двигаться вокруг одного только центрального атома - Штрауса. Вселенная, учит он нас, это машина с железными шестернями, тяжелыми молотами и толчелями, но "в ней движутся не только бездушные колеса, но льется и смазывающее масло, как смягчение страданий (стр. 365)". Вселенная не сумеет выразить, рьяному на образы магистру, свою благодарность за то, что он не нашел лучшего сравнения для похвалы ей, раз уж она заслужила похвали Штрауса. Как же называется то масло, которое, по каплям, истекает на молоты и толчели машины? Как печально было бы для работника узнать, что это масло изливается и на него в то время, как машина задевает его. Предположим, что эта картина неудачна, тогда наше внимание привлекает другое явление, которое Штраус старается пустить в ход, чтобы удостоверить, как именно он относится к вселенной, явление, при котором у него на устах является фраза Гретхен: "Любит?", "Не любит?", "Любит?"... Если при этом Штраус не обрывает лепестков цветка или не отсчитывает пуговицы на своем сюртуке, то что он делает, по меньшей мере невинно, хотя может быть, и для этого нужна некоторая доля мужества. Штраус, желая узнать на опыте, омертвело и расслаблено ли его чувство к вселенной, к этому "все" или нет, сам себя колет, потому что он знает, что можно колоть иглой любой член без боли в том случае, если он омертвлен и стал расслабленным. Собственно говоря, он совсем и не колет себя, но выбирает другой более действительный способ, который он так описывает: "Мы разоблачаем Шопенгауэра, который при всяком удобном случае бьет нашу идею по лицу". Так как идея сама по себе, эта прекраснейшая Штраусовская идея о вселенной, не имеет лица, а имеет его тот, кто является выразителем идеи, то весь способ состоит из одного только следующего действия: Штраус "бьет" Шопенгауэра и даже разоблачает, за что, в данном случае, Шопенгауэр бьет Штрауса по лицу. Теперь в свою очередь реакция происходит со Штраусом, но, уже "невинная", именно, он снова обрушивается на Шопенгауэра, говорит о бессмыслицах, клевете, безбожии и

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org объявляет даже приговор, что Шопенгауэр никому не послужил назиданием. В результате эта перебранка кончается тем, что "мы требуем для нашей вселенной того же благочестия, какого требует верующий старого стиля, для своего Бога", - одним словом "он любит". Да, наш любимец грации делает себе жизнь тяжелой, но он храбр, как мамлюк, и не боится не только черта, но и Шопенгауэра.

Сколько целебного бальзама употребляет он, если такие процедуры происходят часто. С другой стороны мы понимаем, как должен быть Штраус благодарен Шопенгауэру, который щекотливо льстит ему, колет его и бьет. Поэтому нас вовсе не поражают в нем выдающиеся проявления милости. В сочинениях Артура Шопенгауэра необходимо только перелистывать страницы, хотя, с другой стороны, приносит пользу не одно только перелистывание, но и серьезное изучение и т.д.". Кому, в конце концов, говорит эта глава филистеров, на которого можно указать, что он никогда не изучал Шопенгауэра, о котором сам Шопенгауэр, в свою очередь, должен был сказать: "Это автор, который не заслуживает, чтобы его перелистывали, не говоря уже об изучении". По-видимому, Шопенгауэр попал ему не в бровь, а в глаз, он старается освободиться от него, сам же ему надоедая. Чтобы мера наивных похвал была полна, Штраус позволяет себе рекомендовать себе старого Канта. Он называет "всеобщую историю и теорию неба", изданную в 1755 г., сочинением, "которое мне казалось не меняя ярким, чем его позднейшая критика чистого разума. Если в этом сочинении следует удивляться глубине взгляда, то в том сочинении обширности кругозора; если мы в одном сочинении имеем старика, который прежде всего должен бороться за безопасность обладания знаниями, то в другом является перед нами человек, который с полным мужеством идет навстречу духовному изыскателю и завоевателю". Этот приговор Штрауса относительно Канта казался мне не менее скромным, чем первый относительно Шопенгауэра: если здесь мы имеем главу, который должен бороться за право высказать даже такой мягкий приговор, то там мы встречаемся с известным прозаиком, который с полным мужеством и даже невежеством высказывает похвалы Канту. Как раз тот невероятный факт, что Штраус не умел ничем воспользоваться из "Критики чистого разума" Канта для своего Катахезиса новейших идей и то, что он повсюду говорит в угоду грубому реализму, принадлежит к выдающимся, характерным чертам этого нового Евангелия, которое, впрочем, обрисовывается только как результат продолжительных исторических и естественных исследований, приобретенных без труда. Вместе с тем, он сам отрекается от философского элемента. Для главы филистеров и для его "мы" не существует никакой философии Канта. Он не может понять, в чем состоят основы идеализации, что такое относительный смысл всех знаний и рассудка. С другой стороны, именно самый разум должен был ему подсказать, как мало можно заключить о данном факте, следя одному разуму. Справедливо можно сказать, что в известном возрасте люди не могут понимать Канта, в особенности, если подобно Штраусу, они в своей ранней молодости поняли мудреца-гиганта Гегеля или, по крайней мере, хваствают, что поняли. Тогда, конечно, следует взяться за Шлейермахера, который, как говорит Штраус, обладал даже слишком большим остроумием. Штраусу не понравится, если я скажу ему, что он находится в очень дурной зависимости от Гегеля и Шлейермахера, и что его учение о вселенной и способ оценки вещей и его искривление позвоночного столба перед немецким благоденствием, и прежде всего бесстыдный оптимизм филистера должны быть объяснены ранними дурными влияниями в юности, привычками и болезненными явлениями. Кто хоть раз заболел Гегелем и Шлейермахером, тот никогда больше не вылечится. В книге его признаний есть одно место, в котором его неизличимый оптимизм раскрывается с истинно-праздничной приятностью. Если мир есть вещь, говорит Штраус, лучше которой не было ничего, то существует, конечно, и мысль философа, которая образует частичу этого мира, мысль, лучше которой нельзя себе ничего представить. Философ-оптимист не замечает, что он прежде всего объясняет мир, как дурно выраженную мысль, но если мысль о тои, что мир выражен дурно, есть мысль дурная, то тогда мир вещь много лучшая. Оптимизм может облегчить свою задачу согласно известным правилам, тогда положения Шопенгауэра о том, что боль и оскорблечение играют в мире большую роль, совершенно уместны. Но каждая истинная философия по необходимости оптимистична, потому что иначе она сама лишала бы себя права на существование. Если эти опровергающие доводы Шопенгауэра не то же самое, что в другом месте Штраус называет "опровержением, сопровождаемым ликованием в высоком зале", в таком случае я совсем не понимаю этого театрального оборота, которым он пользуется для своего опровержения. Оптимизм уже облегчил себе свою задачу, но с умыслом. Но в том-то и состояло искусство поступить так, будто ничего не стоило опровергнуть Шопенгауэра и так, играючи, выполнить эту задачу, чтобы три грации каждую

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org минуту имели возможность насладиться видом играющего оптимиста. Именно то должно было быть показано на деле, что нет никакой надобности принимать всерьез подобного пессимиста: следовало доказать неопровергими софизмами, что такая нездоровая и безуспешная философия, как Шопенгауэрская, не имеет никакого основания, но должна только тратить слова и красивые выражения. В таких местах становится понятным объяснение Шопенгауэра, а именно, что его оптимизм там, где он представляет одни только бессмысленные фразы, такого рода, что не дает решительно ничего кроме слов и абсурдов, даже по мнению тупиц, но и кажется бездушным способом мышления, язвительной насмешкой над человеческими страстями, которым нельзя подобрать названия.

Когда филистер приводит все это в системе<sup>4</sup>, как Штраус, то он от этого приходит к безбожному образу мыслей, т.е. к бессмысленному учению об удобстве его "я" или его "мы" и возбуждает негодование.

Кто, например, решился бы прочесть без гнева это психологическое объяснение?

Ведь действительно видно, что оно могло возрасти только на корнях этой безбожной теории об удобствах. "Бетховен никогда не решился бы написать текста подобного Фигаро или Дон-Жуану. Разве сама жизнь не насмехалась бы над ним за то, что он так свободно смотрел на вещи, так легко обходился бы с человеческими слабостями". Чтобы привести более сильный пример этой безбожной вульгарности образа мыслей, достаточно одного намека на то, что Штраус не может никаким образом иначе объяснить себе плодотворного стремления к унижению и направлению аскетической святости, как пресыщения половыми удовольствиями всех родов, вышедшими уже из пределов и вызванными ими омерзением.

"Персы называют это *bidamag buden*, а немцы *katzenjammer*", так, нисколько не стыдясь, цитирует сам Штраус, мы же на минутку уклоняемся в сторону для того, чтобы преодолеть отвращение.

7

На деле наш глава филистеров храбр, а на словах и повсюду, где он думает вознести свое гордое "мы" подобною храбростью, даже безумно храбр. Это мы еще все снесем для того, чтобы изучить личное мужество, которым так даровит наш классический филистер Штраус. Выслушаем хотя бы его признание: "Конечно неприятная и неблагодарная обязанность говорить прямо миру то, что ему в меньшей мере хотелось бы выслушать. Мир всем распоряжается и щедрой рукой, как знатные господа, берет и раздает до тех пор, пока у него есть, что раздавать, но если кто-нибудь считает все статьи и подведет всему итог, то мир обходится с ним как с нарушителем покоя. Именно к этому же давно влекло меня мое душевное, нравственное чувство". Подобное духовное чувство можно все-таки назвать мужественным, все же остается сомнение, натурально ли и врожденно ли подобное мужество, или оно выученное и искусственное. Может быть, Штраус только с течением времени привык быть подобным нарушителем порядка по призванию, пока он воспитывал в себе всестороннее мужество. Тогда понятно природное малодушие, которое свойственно филистеру. Эта трусость, в особенности, выражается в отсутствии последовательности и тех скачках, чтобы выразить которых нужно известное мужество. Она гремит как гром, но атмосфера не очищает. Филистер не переносит ее на постепенное действие, но на постепенные фразы и выбирает их как можно оскорбительнее и пускает в дело в грубых и резких выражениях то, что накопилось у него энергии и силы. После того, как он скажет слово, он гораздо трусливее того, кто ничего не говорил, даже тени его поступков и этика показывают, что он герой слова и что он избегает всякого такого положения, в котором необходимо от слов перейти к суровой деятельности. Он заявляет, с достойной удивления смелостью, что он ведь не Христос, "что он не хочет никоим образом нарушать мира". Ему кажется несоответственным основать общество для того, чтобы разрушить общество, в чем нет ничего несоответствующего. С уверенным жестоким чувством удовольствия он зарывается в недоступную теорию нашего происхождения от обезьяны и ценит Дарвина, как одного из самых великих благодетелей рода человеческого, но мы со стыдом видим, что его этика построена так, что не вызывает вопроса, "каким образом постигаем мы свет". В данном случае ему хотелось показать свое природное мужество, потому что здесь он должен был стать спиной к своему "мы" и имел возможность храбро уйти от войны и от преимуществ силы нравственных обязательств жизни, которые должны иметь свое начало в непоколебимом внутреннем уме подобном уму Гоббса, или в совершенной иной, высокой любви к

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org правде, а не в таких умах, которые в сильных выходках прорываются против духовенства. Это потому, что с подобной настоящей и проведенной в жизнь дарвиновской этикой можно восстановить против себя филистера, которого, при данных обстоятельствах, имеют на своей стороне. Всякое видимое явление, говорит Штраус, есть самоуверение в единстве согласно идее о роде. Следовательно, отчетливо и осозаемо передать это можно следующими словами: живи как человек, а не как обезьяна и тюлень. Это приказание, к сожалению, совершенно непригодно и бессильно, потому что под общее понятие человека подходит все самое различное, например, и патагонец и магистр Штраус, и еще потому, что никто никогда не осмелится сказать так же убедительно: живи как патагонец и как магистр Штраус. Так как никто не хотел бы предъявить притязания - живи как гений, т.е., как идеальное выражение понятия - человек, и не будь ни патагонцем, ни магистром Штраусом, то как бы нам не пришлось пострадать от назойливости ищущих гениальности глупцов, оригиналов, которые растут в Германии как грибы, на что уже жаловался Лихтенберг, и которые с диким криком требуют от нас, чтобы мы выслушали их исповедование новой веры. Штраус еще не знает, что люди никогда не могут представить понятие более видимым и реальным, и что насколько легко проповедовать нравственность, настолько трудно установить ее. Скорее, его задачею должно было бы доказать и развить на основании теории Дарвина проявление человеческой доброты, милосердия, любви и самоуничижения, которые теперь видимы в фактах, для того, чтобы одним скачком перейти от доказательства к повелению и избежать вопросов. При этом скачке ему приходится перескочить через основное положение, высказанное Дарвина, вследствие его легкомыслия: "Не забывай ни на минуту, - говорит Штраус, что ты человек, а вовсе не какое-то, лишенное сознания, существо; ни на одну минуту не забывай, что все подобные тебе люди во всех своих личностных особенностях то же самое, что и ты, и что они обладают такими же потребностями, недостатками и претензиями, - вот в чем заключается сущность нравственности". Но откуда звучит это приказание? Как может высказать его человек, когда он, согласно Дарвину, есть некоторое существо, которое развивается до высоты человеческой по совершенно иным законам, именно как раз потому, что, во-первых, он каждую минуту может забыть, что все ему подобные существа могут иметь на что-либо права, а, во-вторых, потому что он при этом может почувствовать себя чем-то более сильным и доводить до совершенного уничтожения другие типы, с более слабой организацией. Штраус должен бы принять за основание, что никогда два существа не бывают вполне похожи друг на друга и что все развитие человека от ступени животного до высоты культурного филистера зиждется на основании закона индивидуального различия. Однако, ему ничего не стоит объявить совершенно противное: "Поступай так, как будто нет никакого индивидуального различия!"

Где же тогда учение о нравственности, господин Штраус-Дарвин?! И куда именно девалось мужество? Затем мы получаем новое доказательство того, до чего доходит это мужество в противоречиях самому себе? Штраус продолжает: "Не забывай ни на одну минуту, что ты и то "все", что ты находишь в себе и вокруг себя правдивого, совсем не обломки, соединить которые нельзя, не дикий хаос атомов и случайностей, но все это идет из одного первоисточника жизни, разума и добра, следя вечным законам, - в этом заключается сущность религии". Из этого "первоисточника" иногда проистекает всякая гибель, всякое безрассудство, все дурное, и этот первоисточник Штраус называет вселенной! Как может быть это достойно религиозного почитания, как можно говорить об этом, произнося рядом имя Бога, как сейчас это делает Штраус в пункте 365, если все это имеет такой противоречивый и заносчивый характер? Штраус говорит: "Наш Бог не принимает нас извне прямо на свое лоно (Здесь, конечно, как противоположность, мы ожидаем нечто весьма удивительное, именно взять на свое лоно - изнутри!), но открывает нам источник утешения в нашем внутреннем "я". Он показывает нам, что хотя совпадение и есть бессмысленный владыка мира, но необходимость, или, иначе говоря, сцепление причин в мире, это тот же разум" (это изворотливость, которую не замечают только эти "мы", потому что они увлечены гегелевским поклонением чистому разуму, иначе говоря, обоготовлением успеха).

"Он учит нас познавать, что требовать исключения в уничтожении хотя бы единственного закона природы - это значит требовать полного уничтожения всего". Напротив, господин магистр, честный естествоиспытатель верит в безусловное соответствие законов природы, не высказывая ни малейшего слова об этическом и интеллектуальном достоинстве этих законов. При подобном взгляде он должен был бы признать величайший акт антропоморфического рождения сущностью, незаключенной в рамках дозволенного, однако в том самом месте, где честный естествоиспытатель слагает с себя всякую

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org  
ответственность, Штраус невинно производит "обратное действие" для того, чтобы "религиозно" украсить нас своими собственными перьями на основании естественных наук и бесчестно с научной точки зрения; он принимает на веру, что все происходящее имеет величайшее интеллектуальное достоинство и, таким образом, устроено абсолютно разумно и целесообразно и так, что заключает в самом себе признаки вечного блага. Таким образом, он вполне пользуется учением о космогонии и вредит тому, кто занимается только изречением феодицией и кто должен представить все бытие людей как исправительную меру или как блаженное состояние. В этом пункте, в подобном затруднительном положении, Штраус допускает даже метафизическую гипотезу, самую ужасную, какая только является невольной пародией слов Лессинга. Другое известное выражение Лессинга (так гласит пункт 214): "Если Бог с правой стороны имеет всю правду, а с левой только живое влечение к тому, что представляется ему исходом из постоянного заблуждения, то Господь должен пасть на свою левую сторону и предложить себе все ее содержание". Это выражение Лессинга всегда причисляли к лучшим, которые он нам оставил. В этом выражении нашли гениальный отклик его неутомимой деятельности и стремления к удовольствию. Лично на меня это выражение производило совсем особое влияние, потому что я всегда различал среди его субъективных понятий еще и неясный объективный смысл. Потому что разве в этих словах мы не находим ответа на грубые слова Шопенгауэра о зломыслящем Боге, который не сумел сделать ничего лучшего, как снизойти в этот жалкий мир? Кто же был творцом по мнению Лессинга, если он предпочел спокойному обладанию борьбу? Итак, действительно, тот Бог, который содержит в себе вместе со стремлением к правде постоянное заблуждение, и подобно Штраусу, робко уклоняется в левую сторону, чтобы сказать ему: "Возьми ты всю правду". Если бы Бог и человек были так злономеренны, то это тот самый штраусовский Бог, который обладает способностью впадать в заблуждения и тот же штраусовский человек, который должен исправлять эту любовь к заблуждениям; в этом конечно, "услышано указание на бесконечную важность". Вот здесь то и истекает штраусовское универсальное масло, здесь можно догадаться о разумности всякого бытия и законов природы! Правда ли? Разве в этом случае, как однажды выразился Лихтенберг, наш мир произведение упорядоченного существа, которое недостаточно верно поняло положение вещей, не есть ли первая попытка, образец, по которому будут еще творить. Сам Штраус должен был тогда признаться, что наш мир не арена для разума, а заблуждение, и что вся закономерность не содержит в себе ничего утешительного, потому что все законы даны одним заблуждающимся Богом и еще заблуждающимся ради собственного удовольствия. Действительно, это было бы дивное зрелище, увидеть Штрауса как метафизического строителя, созидающего облака. Но для кого будет устроено это зрелище? Для этих гордых и веселых "мы" для того, чтобы не исчез их юмор. Может быть они обяты страхом пред могучей и незнающей пощады работой колес мировой машины и дрожа просят своего вождя о помощи. Поэтому Штраус и изливает "масло", поэтому отводит в сторону на веревочке Бога, пришедшего в заблуждение из-за страстей, поэтому-то он и разыгрывает чуждую ему роль метафизического строителя. Все это он делает потому что последователи боятся его, да и он сам боится себя, и здесь-то лежит предел его мужества, отделяющий его от этих его "мы". Он даже не осмеливается честно сказать им: "Я освободил вас от Бога, приносящего помощь и сострадательного, вселенная это только могучая работа колес; смотрите, как бы ее колеса вас не раздавили". Он этого не смеет сделать, но должен вывести на сцену еще пугало, именно метафизику. Но для филистера метафизика Штрауса приятнее христианской, а представление о заблуждающемся Божестве симпатичнее идеи о Божестве творящем чудеса. И это происходит потому, что сам филистер заблуждается, но при этом не сотворил ни одного чуда.

На том же самом основании ненавистен филистери гений, потому что именно он по праву и призван творить чудеса. Познакомиться с ним поучительно, главным образом, потому что в одном месте Штраус выставляет себя отважным защитником гения, в особенности аристократической натуры великого ума. Почему же? Из страха и даже из страха перед социал-демократами. Он ссылается на Бисмарка и Мольтке, "величие которых тем не менее может быть умалено, чем более выступает оно из пределов осязательных поступков. В этом случае самые упорные и самые рьяные из их помощников должны приспособиться и взглянуть вверх, хотя бы для того, чтобы их взгляд обнял великие фигуры только до колен". Может быть, вы, господин магистр, желаете дать социал-демократам руководство, каким образом относиться даже к их следам? Доброе желание, давать подобные советы всюду имеет успех и, чтобы последователи этого направления могли увидеть выдающихся личностей "хотя бы до колен", им уже надо согнуться. "И в области наук и искусств", -

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org продолжает Штраус, "никогда не будет недостатка в государях-созидателях, которые дадут работу возницам и даже целой массе их". Хорошо, а если созидают извозчики? Бывают и такие случаи, господин метафизик, - тогда государям приходится смеяться.

На самом деле это унижение, происходящее от заносчивости и слабости, смелые слова и трусливое стремление к личному удобству, это точное взвешивание того, согласно каким законам следует противопоставить себя филистерию, чем можно его приласкать; этот недостаток характера и силы, при кажущемся характере и силе; этот недостаток рассудка при всей чопорности, происходящей от недостатка рассудительности и зрелого опыта, все это и есть то, что я ненавижу в этой книге. Когда я думаю, что эта книга попадает в руки молодых людей, и что они могут придавать ей огромную важность, тогда я печально отказываюсь от надежды на их будущее. Это исповедь несчастного, лишенного надежды и ненавидящего правду филистерства, должна быть отпечатком тех многих тысяч "мы", о которых говорит Штраус, а эти "мы" могут быть отцами следующего поколения. У каждого могут быть самые темные предположения, у всякого, кто желал бы помочь следующему поколению в том, чего не имеет настоящий век действительной немецкой культуры. Такому человеку все кажется покрытым мерзостью запустения, все звезды кажутся темными, каждое увядшее дерево, каждое запущенное поле взывает к нему: "Нет больше плодов, все погибло". Здесь нет больше весны, следует прийти в отчаянье, как пришел в отчаянье молодой Гете, когда в печальную, проникнутую атеизмом полночь, взглянул в "Système de la nature". Ему показалась эта книга настолько мрачной, химерической и смертоносной, что для него стоило страшных усилий выдержать ее направление, и она привела его в ужас как привидение.

8

Итак, мы достаточно уже изучили небо и мужество последователя новой веры и теперь можем поставить последний вопрос. Каким образом пишет он, Штраус, свои Религиозные акты?

Тот, кто строго и без предвзятого мнения может ответить на этот вопрос, для того является фактом, что штраусовская настольная книга немецкого филистера вышла шестым изданием. Для нас же является в достаточной мере загадочным это явление, если приходится слышать, что в ученых кругах и даже в немецких университетах книгу этого оракула приняли очень радушно. Студенты приветствовали ее как канон для великих умов. Профессора не опровергали ее, а кое-где находили ее даже евангелием ученого. Сам Штраус дает понять, что его книга признаний не должна быть принята к сведению только учеными и образованными людьми, но мы держимся того мнения, что она касается преимущественно ученых, чтобы как в зеркале показать им их жизнь, как они ее проводят. В том-то и весь фокус: магистр выставляет себя с такой стороны, будто бы рисует новое мировоззрение, и его собственная похвала из всех уст возвращается на него же потому, что каждый может думать, что он судит о мире и жизни именно так и что Штраус именно на нем прочувствовал то, что он требует от будущего. Этим и объясняется необыкновенный успех этой книги. "Так, - как гласит эта книга, - мы живем и проводим жизнь осчастливленные" восклицает ученый навстречу ей и радуется, что и другие радуются тому же. Хотя он относительно некоторых вопросов и думает иначе, чем Штраус, напр., о Дарвине или о смертной казни, он все же относится к этому почти равнодушно, потому что он в общем чувствует безопаснее для себя дышать своим собственным воздухом и слышать от голосок своего голоса, своих потребностей. Так мучительно должно затронуть это всеобщее заключение всякого истинного друга немецкой культуры, так неумолимо строго должен он объяснить подобный факт и не бояться открыто высказать свое объяснение.

Все мы знаем обычайский способ нашего века обходиться с наукой. Да, мы знаем его, потому что сами живем и поэтому-то никто не задает себе вопроса, какая польза может быть для культуры при подобном отношении к науке, предполагая, конечно, что всюду на первом плане находится самое лучшее стремление и самое горячее желание работать для культуры. Ведь в самом существе стремящегося к знанию человека лежит действительная странность (совершенно несоответствующая его личному виду). Он лишает себя счастья, как самый гордый праздношатающийся человек, как будто-бы само бытие не есть нечто самое блаженное, несомненное, но твердое, гарантированное надолго обладание. Ему кажется возможным обращать жизнь в вопрос, ответ на который в своем основании имеет силу лишь для того, кто застрахован на жизнь в лености. Вокруг него, наследника немногих часов, неподвижно поднимаются

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org самые ужасные крутизы, каждый шаг должен напоминать ему "куда? зачем? для чего?" Но его душа расцветает, если представляется случай считать пылинки цветка и разбивать на дороге камни, и он всецело отдает этой работе весь запас своего организма: веселье, силу и желание. Эта странность, именно человек, стремящийся к науке, эта новость в Германии довела людей до страшной торопливости, как будто наука - это фабрика, где каждая просроченная минута влечет за собой штраф. Теперь человек так упорно работает, как четвертая степень рабства. Его труд уже более не занятие, а гнетущая необходимость. Он не сворачивает ни вправо, ни влево, но проходит мимо всего и даже мимо сомнений, которые носит в себе сама жизнь. Он проходит мимо всего с тем полувниманием или с той отвратительной потребностью к отдыху, которая так свойственна исчерпавшему свои силы работнику. Итак он приступает теперь к культуре. Он поступает так, как будто для него жизнь только покой, но недостойный покой. Даже во сне он не снимает с себя ярма, как раб, которому и на свободе грезятся необходимость, работа и побои. Наши ученые почти не отличаются (что конечно не говорит в их пользу) от землепашцев, которые желаюут увеличить свое небольшое состояние, перешедшее им по наследству, и которые целый день, с утра до ночи, погружены в обработку своего поля, в хождении за плугом и понукании волов. Одно из главных положений Паскаля состоит в том, что люди так упорно посвящают жизнь занятиям и науке лишь для того, чтобы избегнуть гнетущих вопросов, которые им навязывает каждая минута уединения и всякий действительный досуг; именно вопросов: "зачем? куда? и почему?". Нашим ученым, удивительным образом, не приходит в голову вопрос, какую пользу приносит их работа, их торопливость и их болезненное упоение. Ведь они трудятся не для того, чтобы заработать себе на хлеб или добиться почетного места. Нет, конечно нет! Но почему же вы тогда трудитесь так, как нуждающиеся, как те, которым не хватает хлеба? Ведь вы с жадностью и без разбора просто рвете куски о стола науки, как будто бы вы голодны. Если же вы, люди науки, обходитесь с ней так, как работник с уроком, заданным ему его потребностями и жизненной необходимостью, какая же из этого выйдет культура, которая предназначена иметь форму вынужденных, бездушных, бросающихся туда и сюда и даже трепещущих знаний и ждать освобождения в минуту ее зарождения. Для культуры ни кто не имеет времени, какое же значение тогда может иметь наука и именно наука, если у нее нет времени для культуры. Так отвечают нам, но этот ответ менее всего отвечает на наш вопрос: куда, зачем и почему все знания, если они не должны вести к культуре. Мы видим, что в этом направлении, ученое сословие сделало уже шаг вперед, так как такие плоские книги, как штраусовская, мнят, что они уже сделали достаточно не своем пути к развитию культуры. Ведь как раз в его сочинениях мы находим отвратительную потребность к возвышению и это полувнимательное, беглое и прислушивающееся вхождение в сделку с культурой, философией и, главным образом, с серьезностью бытия. Следует вспомнить об обществе ученых, которое даже в том случае, если молчит ученое мнение, дает свидетельство только об утомлении, стремлении к рассеянности, об растерзанности мысли и о бессвязном жизненном опыте. Когда мы слышим речь Штрауса относительно жизненных вопросов, будь они о браке, о войне или о смертной казни, он пугает нас полным недостатком настоящего образования и тем, что он недостаточно проникся основой человечества. Все же основы его положений подведены под размеры только книги и даже, в конце концов, газеты. Литературные воспоминания заступают место действительных положений и взглядов. Аффектированное равновесие и старческая мудрость в выражениях должны доказать нам недостатки смысла и зрелости мысли. Как верно все это противоречит духу окруженней суетой высокого положения немецкой науки в больших городах. Как симпатично должен говорить этот дух тому направлению ума, потому что именно на эти государства более всего истрачено культурою усилий, потому что именно относительно их стало невозможно насаждение новой; насколько здесь суетливо снаряжение действующих наук, настолько там подчинение тратам превосходит сильнейшие. С каким фонарем следует искать здесь человека, который был бы способен на внутреннее самопогружение и на чистую привязанность к гению, и который имел бы достаточно силы и мужества, чтобы заставить дрожать демонов, улетевших из нашего мира. Если смотреть с внешней стороны, то, конечно, в этих государствах можно найти все торжество культуры и сравнить их со внушающими уважение инструментами цейхгаузов, с их огромными орудиями и предметами военного дела. Мы видим сооружения и такое упорное старание, будто бы нам нужно было бы брать приступом небо или доставать правду из самых глубочайших колодцев, и в то же время на войне можно в высшей степени дурно употребить эти машины. Точно так же настоящая культура при своем победном шествии оставляет в стороне эти государства и лучшими своими чувствами понимает, что там ей нечего делать и слишком много есть такого, чего должно бояться, потому что единственная форма культуры,

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org которой могут отдаваться труженики ученого сословия с горящими глазами и притупленными органами мышления, это культура филистеров, евангелие которой проповедовал Штраус.

Если мы только одно мгновение займемся разбором главного основания той симпатии, связывающей тесными узами сословие ученых тружеников и культуру филистеров, то мы сейчас же выйдем на путь, который приведет нас к классически известному писателю Штраусу и затем к нашей главной теме.

Эта культура, во-первых, носит отпечаток мира и не желает изменять ничего существенного в противоположном течении немецкой образованности; прежде всего она серьезно убеждена в единстве всех немецких учебных заведений, гимназий и университетов, не предстает навязывать их и за границей, ни минуты не сомневается в том, что при помощи этой культуры можно стать самым образованным и самым способным к суждению народом мира. Культура филистеров верит в себя, а поэтому и во все методы и средства, которые находятся в ее распоряжении.

Во-вторых, она влагает самый величайший приговор относительно вопросов культуры и вкуса в руки ученого и сама толкует себя, как вечно произрастающее собрание мнений относительно искусства, литературы и философии. Ее задача принудить ученого высказать свое положение; затем она их смешивает, процеживает или систематизирует, чтобы потом преподнести немецкому народу, как целебное лекарство. То, что возрастет вне этого круга, то будет с тех пор выслушиваться с полусомнением или вовсе не будет выслушиваться, будет замечаться или не замечаться пока, наконец, не прозвучит из храма, в котором должна быть скрыта традиционная непогрешимость вкуса, благоприятный голос того, кто носит в себе характер родового понятия. Только с этого времени общественное мнение будет обладать одним лишним и как тысячеголосное эхо повторять голос одного. На самом же деле относительно эстетической непогрешимости, которая заключается в каком-то храме и принадлежит только одному, дело обстоит так, что до тех пор можно быть уверенным в отсутствии вкуса, бессмыслицы и эстетической грубости ученого, пока он не доказал противного. И только немногие могут доказать противное. Это происходит оттого, что очень немногие, после того, как они принимали участие в состязании и за наличные науки, - состязании, которое заставило их только запыхаться и вспотеть, - могут и заключать в себе мужественный и успокаивающий вид борцов культуры только тогда, когда они овладели этой способностью видеть, способностью, которая может охарактеризовать само состязание как варварство. Поэтому-то эти немногие должны жить в противоречии. Что они могут предпринять против обличенной в известную форму веры бесчисленных людей, которые сделали общественное мнение всецело своим покровителем и со своей стороны поддерживают себя этой верой? Какая может быть помощь, если один только человек осмелится открыто выступить против Штрауса, когда очень многие подают голос за него, и если совращенная ими с пути истины масса выучилась домогаться сонного филистерского напитка магистра так, что за одним идут шестеро.

Если мы, не принимая в соображение дальнейшего, предположим, что книга Штрауса, в глазах общественного мнения, одержала верх и что ее приветствовали как победителя, то пожалуй, ее автор обратит наше внимание на то, что различные суждения о его книге, появившиеся в современной прессе, носят совершенно неединодушный характер и в самой меньшей мере безусловно благосклонный характер, и что он сам должен был протестовать в своем послесловии против враждебного временами тона и против слишком смелой и вызывающей манеры этих газетных борцов.

Но как же может общественное мнение высказывать свой отзыв о моей книге, так говорят нам, когда, несмотря ни на что, всякий журналист может объявить меня опальным и бранить сколько ему угодно. Это противоречие легко опровергнуть, раз только в книге Штрауса различать две стороны: теологическую и писательскую. Только эта последняя часть книги затрагивает культуру. Со стороны своей теологической окраски он стоит вне нашей немецкой культуры и пробуждает симпатии различных теологических партий и даже каждого отдельного немца, если тот по натуре принадлежит к теологической секте, и открывает свое, может быть, странное, но личное верование только для того, чтобы иметь возможность не согласиться со всяkim иным верованием. Но стоит только прислушаться к тому, что говорят о Штраусе все эти теологи-сектанты, раз только речь зайдет о писателе-Штраусе: тотчас же затихает теологический шумный диссонанс и в чистом звуке, который звучит как бы из уст одного существа, слышно: "Все-таки он классический писатель".

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org

Каждый человек, даже самый заядлый, говорит писателю в лицо все самое доброжелательное, будь это даже одно слово о его почти лессинговской логике или красоте, изяществе или о пригодности его эстетических взглядов. Как книга, это произведение Штрауса, мне кажется, отвечает почти идеалу книги. Противники ее теологи, хотя бы даже они говорили насколько возможно громко, представляют из себя лишь частицу всей публики; и Штраус, в противоположность им, будет прав, если утверждает: "Сравнительно со многими тысячами моих читателей - дюжина, другая моих открытых прорицателей, это незаметное меньшинство, и им будет трудно доказать, что они безусловно верно толкуют первых. Если в данном случае слово принадлежит совершенно несогласным, то согласные довольствуются как бы молчаливым согласием.

Таково уже свойство обстоятельств, которое мы все знаем". Итак, несмотря на досаду, причиняемую теологическим исповеданием, которую Штраус мог возбудить кое-где, относительно писателя-Штрауса, даже при самых фанатичных противниках, для которых его голос звучит подобно голосу зверей из пропасти, господствует единодушие. Поэтому-то толкование, которое Штраус узнал при помощи литературных приспешников теологических партий, не доказывает ровно ничего против нашего заключения о том, что филистерская культура отпраздновала свой триумф.

Следует прибавить, что образованный филистер в среднем на один градус менее чистосердечен, чем Штраус, или, по крайней мере, при открытых демонстрациях держится более сзади. Тем более правдоподобна кажется ему откровенность во всяком другом: дома и среди подобных ему он даже громко рукоплещет и шумит и только письменно не хотелось бы ему сознаться, как именно близко его сердцу все, что говорит Штраус. Однако, есть все-таки что-то робкое, как мы это видим на деле, у нашего образованного филистера даже в самых его горячих симпатиях, и именно то, что Штраус именно на один градус менее робок, делает его вождем, в то время как с другой стороны, и он имеет известную границу своего мужества. Когда бы он преступал ее, как это делает Шопенгауэр почти в каждом своем положении, тогда бы он более не был главарем филистеров, и его избегали бы точно так же, как теперь бегают за ним. Если кто-нибудь, не зная наверное эту, во всяком случае, разумную умеренность, эту "mediocritas" смелости духа, хотелось бы назвать ее добродетелью Аристотеля, тот конечно, впал бы в ошибку, потому что это духовное мужество не может быть серединой между двумя пороками, но только между добродетелью и пороком, и в этой-то середине, между пороком и добродетелью, и лежат все свойства филистеров.

9

"Все-таки он классический писатель!"

Посмотрим.

Может быть, мне будет теперь позволено поговорить о Штраусе, как о художнике слова, стилисте, но сначала нам остается еще принять в соображение, в состоянии ли он представить собою писателя и действительно ли он поднимает что-нибудь в архитектуре книги. Уж из этого одного можно будет заключить, действительно ли он осмотрительный и набивший руку писатель. Если нам придется сказать "Нет", то ему все-таки, как последнее "убежище" его славы, останется звание классического прозаика. Эта последняя способность, без первой, конечно, не может возвысить его поставив в ряды классических писателей, а только по крайней мере классических импровизаторов и виртуозов, которые, правда, во всяком своем проявлении, и в целом, и в первоначальном только основании своего созидания, показывают лишь тяжелую руку и узкий взгляд писак. Итак, мы спрашиваем, имеет ли Штраус силы создать нечто целое? Обыкновенно по первым же наброскам писателя можно судить, все ли он обозрел и сообразно с этим, нашел ли он общий ход и правильное мерило. Если это главнейшая задача исполнена и здание сооружено в счастливых пропорциях, то все-таки остается еще много работы. Сколько маленьких ошибок нужно исправить, сколько пробелов заполнить. Там, где до сих пор можно было довольствоваться временными перегородками или фальшивым полом, всюду пыль и сор и всюду, куда ни взглянешь, следы необходимой работы. Дом, в целом виде, еще необитаем, стены голы и ветер со свистом врывается в открытые окна. Исполнен ли Штраусом весь еще необходимый, великий и утомительный труд, так далеко мы не заглядываем, когда ставим вопрос, всюду ли соблюдены пропорции здания, и все ли приведено в одно целое. Противоположность этому, как известно, будет складывание книги из кусочков, как это практикуется иногда учеными. Они надеются на то, что эти кусочки имеют между собой связь и смешивают

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org логическую связь с художественной. Само отношение четырех главных вопросов, которые обрисовывают главы штраусовской книги, не логично: "Христиане ли мы еще?"; "Есть ли у нас еще религия?"; "Как мы понимаем мир?": "Как мы регулируем нашу жизнь?", не логично потому, что третий ко второму, четвертый к третьему, и все три к первому не имеют никакого отношения. Например, естествоиспытатель, который отбрасывает третий вопрос, показывает как раз тем свое незапятнанное чувство истины, что молча обходит второй, и что темы четвертой главы - брак, смертная казнь, республика, через примешивание дарвиновской теории из третьей главы книги только спутаны и затемнены; Штраус, как кажется, сам старается постичь, когда он фактически не делает более обзора этих теорий.

Вопрос же: "Христиане ли мы?" - портит свободу философского разбора и окрашивает его очень неприятно в теологический цвет. Он совсем забыл о том, что большая часть человечества еще и теперь буддисты, а не христиане. Отсюда очевидно, что Штраус никогда не переставал быть христианским теологом и потому совсем не научился быть философом, так как он не умеет различать и веру, и знание и далее называет одним, так сказать, дыханием "новую веру" и "новые науки". Или, может быть, эта новая вера есть только ироническое обобщение, манера говорить? Так-то оно почти и есть, когда мы видим, что он кое-где простодушно допускает новую веру и новые науки меняться местами (например, стр. 11, где он спрашивает, на чьей стороне, древней ли веры или новых наук, больше неизбежной туманности и недостатка в человечности). Кроме того, после схемы вступления, он хочет дать доводы, на которые опирается новое мировоззрение. Однако, все эти воззрения он заимствует у науки и выставляет себя человеком, исполненным науки, но не веры.

В основании своем новая религия совсем не есть новая вера, но совпадает с современными новейшими науками, а поэтому, как таковая, вовсе не религия. Если Штраус все еще уверяет, что он имеет религию, то ее основания лежат в стороне от новейших наук. Только самая незначительная часть штраусовской книги, т.е. именно немногие разрозненные страницы, указывают на то, что по праву должен бы Штраус назвать новой верой.

Это именно то чувство по отношению ко вселенной, для которой Штраус требует того же самого благочестия, которое питал к своему Богу верующий старого стиля. К тому, что находим мы на этих страницах, совсем не подходит название научного. Если бы только оно было немного сильнее, более натурально, более здраво, а в особенности более проникнуто верой! Именно более всего поражает то, благодаря чему наш автор впервые приходит для художественного образа действия к понятию о сознании того, что он имеет еще одну веру; и он приходит, подвергаясь уколам и ударам, как мы это видели выше. Несчастный и слабый, он извлекает эту вынужденную веру: нас пробирает дрожь, когда мы смотрим на нее.

Когда Штраус, в схеме своего введения, обещал дать нам обобщение, сослужила ли новая вера для верующего ту же службу, что и старая вера по-старому, он сам, наконец, чувствует, что он слишком много пообещал, потому что последний вопрос об одинаковой пригодности и о добре и зле стоит у него рядом и разобран с застенчивой поспешностью, даже иногда смущенно: "Кто в этом вопросе не может помочь самому себе, тому вовсе не следует помогать, тот не дорос до понимания нашего основного положения". "Напротив, с какой силой убеждения верил античный стариk во вселенную и в разумность ее. В каком свете, если толковать так, является защита оригинальности своей веры, которую создает Штраус. Все равно как бы не сказать, что она нова или стара, оригинальна или заимствована, решительно все равно, если только она сильна, здорова и естественна. Сам Штраус оставляет свою очищенную, вынужденную веру, как только дело переходит в спор, чтобы обезоружить и нас и себя своими знаниями и представить свои вновь изученные, естественные познания своим "мы" с чистой совестью. Он так робок, когда говорит о вере, и выражается так красноречиво и полно, когда цитирует величайшего благодетеля новейшего человечества Дарвина; тогда он не только требует веры в новую Мессию, но и в себя, нового апостола; например, когда он проводит тонкую тему естественных знаний, то с чисто античной гордостью заявляет: "Мне, быть может, скажут, что я говорю о вещах, которых не понимаю, но являются другие, которые их поймут; они поймут и меня". Отсюда очевидно, что эти славные "мы" будут обязаны не только верить во вселенную, но и в естествоиспытателя Штрауса. В этом случае мы можем только пожелать, чтобы они не имели необходимости в такой трудной и ужасной процедуре для познания последней веры, как для познания первой. Или, быть может, достаточно для

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org того, чтобы мучить и колоть противоположную веру, а не самого верующего, привести верующего к "религиозной реакции", которая представляет выдающуюся особенность новой веры? Какую услугу окажем мы религиозному чувству этих "мы"? Следует именно опасаться того, что новейшие люди не примутся на нашей почве без того, чтобы тяготиться религиозными верованиями апостола, каким образом они существовали до сих пор без понятия о разумности вселенной. Все новейшее естественное и историческое стремление не имеет никакого отношения к штраусовской вере во вселенную и так как современный филистерь совершенно не нуждается в этой вере, то он дает изображение своей жизни, которое делает Штраус в своей главе "как мы регулируем нашу жизнь". Он вправе сомневаться "отвечает ли все требованиям почтенных читателей, на которые они рассчитывают этот экипаж?" Конечно, нет: современный человек двигается вперед скорее, если он не садится в этот штраусовский экипаж, или, вернее, он подвигался гораздо быстрее задолго до того как существует этот экипаж. Если бы была правда, что это ограниченное "меньшинство", о котором и во имя которого говорит Штраус, отличается большой последовательностью, то оно, конечно, должно быть так же мало доверено Штраусом, как и мы его логикой. Но все-таки постараемся сделать логичную оценку, может быть, вся книга объяснила художественно хорошо найденную форму и отвечает понятию о прекрасном, раз она не отвечает хорошо обработанной мыслительной схеме.

Здесь впервые у нас является вопрос, есть ли Штраус хороший писатель после того, как мы узнали, что он не высказал себя ни образованным естествоиспытателем, ни строгим и точным ученым-систематизатором? Может быть, он задался мыслью не столько избегать старой веры, сколько привлечь жизнь к новому понятию о мире, посредством вдохновенной и обильной красками картины? Именно, если бы он думал об образованном и ученом человеке как о читателе, то он именно и должен был по опыту знать, что хотя бы он и стрелял в него тяжелым зарядом естественных доказательств, все-таки он не мог бы принудить его к сдаче, так как именно они-то и окружают, в качестве защитников, легковооруженный соблазн искусства. Сам Штраус называет свою книгу "легковооруженной", хотя и с известной целью; как легко вооруженную, принимают ее его открытые почитатели, из которых один, например, и даже очень любимый, описывает этот прием следующим образом.

"Речь выступает с одухотворенной равномерностью и одновременно, как бы играя, захватывает искусство логических доказательств там, где она обращается с критикой к "старому", не менее чем и там, где она представляет "новое", приносимое ею победоносно, беспрекословно, с привычным вкусом. Расположение различных несходных материй, где все предназначено к тому, чтобы тронуть и ничего не расширить, обдумано замечательно тонко. Даже переходы, которые ведут от одной материи к другой, сплочены искусно, и следует еще более удивляться ловкости, которая замалчивает или отодвигает в сторону неудобные вещи".

Мысли подобного почитателя, как это здесь видно, недостаточно проникают в то, на что способен данный автор, но еще лучше в то, что он хочет сказать. Что же хочет сказать Штраус, обнаруживает нам его собственная самая яркая эмфатическая и не совсем безвредная рекомендация вольтеровских граций, находясь в услужении которых именно он мог научиться этому легковооруженному искусству, о котором говорит его почитатель - и действительно, подобная добродетель поучительна, если магистр может сделаться даже танцором. У кого не является побочных мыслей, когда он читает, например, следующие слова Штрауса о Вольтере: "Как философ, Вольтер вовсе не оригинал, он является только переделывателем английских исследований, при этом он высказывает себя свободным творцом материи, которую он извлекает отовсюду с несравненной ловкостью, умеет представить во всевозможном освещении, и не будучи строго методичным, умеет удовлетворить основным требованиям". Все отрицательные черты налицо: никто не будет уверять, что Штраус, как философ, оригинал и строго методичен, но вопрос в том, можем ли мы считать его "свободным творцом материи" или приписать ему "необыкновенную ловкость". Его признание в том, что его сочинение умышленно "легковооружено", дает нам возможность заключить, что оно менее всего посягает на несравненную ловкость. Наш архитектор мечтал выстроить на храм, не жилой дом, но загородную виллу со всевозможными затеями. Ведь кажется, что более всего было рассчитано на таинственное чувство к вселенной, как на эстетический эффект, равным образом как вид на несуществующий элемент моря, открывающийся с прелестной нравственной террасы. Обзор его первых глав, как прохождение теологических катакомб с их темнотой, с их странной и смешной орнаментовкой, опять-таки был эстетическим средством поднять, как контраст, чистоту, свет и разумность

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org главы под заглавием: "Как мы понимаем мир". Потому что, пройдя этот длинный темный коридор, в потемках глядя в несуществующую даль, мы вступаем в залу с верхним освещением. Трезво и светло принимает она нас со своими картами неба, математическими фигурами на стенах, наполненная физическими приборами, со скелетами, чучелами обезьян и анатомическими препаратами в шкафах. Отсюда мы направляемся сначала действительно осчастливленные во внутренние покои наших обитателей загородной виллы.

Мы находим их в обществе жен и детей, за газетами и будничными политическими разговорами, мы слышим, как они долго говорят о браке, о всеобщем голосовании, о смертной казни, о стачках рабочих, и нам кажется невозможным не помолиться по четкам общественного мнения. Наконец, мы должны еще убедиться в классическом вкусе обитателе этого дома: короткая обстановка в библиотеке и музыкальной комнате дает нам возможность заключить, что на полках стоят лучшие книги, на пюпитрах самые известные музыкальные произведения. Нам даже кое-что сыграли и когда исполняли Гайдна, то он был вовсе не виноват, что его произведение звучало, как дилетантская музыка Риля. Хозяин дома имел, между прочим, случай объявить нам, что он вполне согласен с Лессингом, с Гете, правда, до его 2-ой части фауста. Наконец, владелец виллы хвалит себя и высказывает мнение, что не должно помогать тому, кому не нравится у него, кто еще не созрел для основного положения. После этого он предлагает нам свой экипаж, но с единственным предостережением: ведь ему не хочется утверждать, что этот экипаж будет отвечать всем нашим требованиям и притом на пути свежо насыпан щебень, и нас может растрясти. После этого наш эпикуреец кланяется с неподражаемой ловкостью, которую он умел хвастаться пред Вольтером. Кто же может теперь сомневаться в этой неподражаемой ловкости?

Свободный творец материи признан. Легковооруженный творец сада обнаружился и все время мы слышим голос классика: "Как писатель, я не хочу быть филистером, я не хочу. Я хочу быть Вольтером или, по крайней мере, французским Лессингом. Мы разоблачим профессиональную тайну: наш магистр не знает, кем он хочет быть, Вольтером или Лессингом. Только ни за что филистером, а если можно, то сразу и Вольтером и Лессингом, чтобы исполнить то, что написано: "У него нет никакого характера, но если он пожелает его иметь, то он должен иметь его!"

10

Если мы верно поняли Штрауса, то он действительно настоящий филистер с узкой черствой душой и с учеными и трезвыми потребностями, и вместе с тем никогда нельзя так рассердить, назвавши филистера, как давида Штрауса. Он думает, что ему воздают должное, если называют мужественным, дерзким, злым, отчаянным, но он более всего счастлив, если его сравнить с Лессингом и Вольтером, потому что они именно и не были филистерами. В поисках за этим счастьем, он чаще становится нерешительным, сомневаясь, должен ли он сравняться со смелой диалектической отвагою Лессинга или ему больше идет держать себя сатирическим и свободомыслящим старцем, как Вольтер. Обыкновенно, когда он садится писать, делает такое лицо, будто бы он хочет дать рисовать с себя портрет и именно то лессинговское, то вольтеровское лицо. Когда мы читаем его похвалу вольтеровскому изображению, то, кажется, что он убеждает современников (так как они этого не знают), какое отношение имеют они к новейшему Вольтеру. Он говорит: "У него есть преимущество и всюду оно сохраняет свой характер: это простота и натуральность, полная ясность, живость, подвижность и приятное воодушевление. Нет недостатка в теплом чувстве и энергии там, где они необходимы, а напыщенность и аффектация прямо противны внутреннему характеру Вольтера; с другой стороны, когда мы делаем общественным достоянием его иронию и чувства его страсти, то в этом отношении он грешит не как стилист, а как человек". Штраус, очевидно, отлично знает, какое отношение имеют его сочинения к простоте стиля; простота всегда отличительной чертой гения и, только как таковая, имеет право на простоту, натуральность и наивность. Она не доказывает общего честолюбия, если автор выбирает простую манеру, потому что хотя всякий знает, что следует считать подобного автора, он все-таки предпочитает считать его гением. Гениальный автор высказывается не только в простоте и твердости убеждений, но его величайшие способности как бы играют с содержанием, как бы оно не было опасно и трудно. Никто не может идти твердыми шагами по неизвестной и загражденной тысячью препятствий дороге, а гений отважно, смелыми и красивыми прыжками продвигается по подобной тропинке и не считает нужным заботливо и осторожно размерять шаги. То обстоятельство, что проблемы, мимо которых таковые будут обсуждаться

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org мудрецами всех столетий, знает и сам Штраус, и все-таки называет свою книгу "легковооруженной". Все эти ужасы, вся эта мрачная серьезность размышлений, при которых невольно являются вопросы о цене жизни и об обязанностях человека, вовсе не страшны, когда гениальный магистр старается нас обмочить словами: "легковооруженные" и "с умыслом". Да, они легче вооружены, чем его Руссо, о котором он говорит, что он обнажен снизу и задрапирован сверху, в то время как Гете надо считать задрапированным снизу и обнаженным сверху. Но кажется, что совершенно наивные гении совсем не драпируются, и, может быть, выражение "легковооруженный" употреблено только как смягченное выражение для слова нагой. Относительно богини Истины очень многие, видевшие ее, уверяют, что она нагая, и может быть, в глазах тех, кто ее не видел, но верит этим немногим, нагота или легковооруженность служат доказательством, или, по крайней мере, ссылкой на правду.

Само подозрение зависит от выгод тщеславия автора: например, некто видит что-нибудь нагое, а ну как это правда, восклицает он и принимает торжественный вид, как будто бы это было для него делом обычным. Автор же тем приобрел много преимуществ, что он принуждает своих читателей смотреть на него веселее, чем на излюбленного тяжеловооруженного автора. Это путь сделаться классиком, и Штраус сам говорит нам, что "ему оказывают совершенно неожиданную честь, если смотрят на него как на "классического прозаика", и что он таким образом достиг цели своего пути. Гений Штрауса бегает по улицам в легком платье богини; как классический гений и филистер Штраус должен объяснить оригинальное поведение гения "наступившим упадком" или невозможностью возвращения к прежнему состоянию.

Ах, филистер часто сворачивает с этого пути вопреки всем постановлениям об упадке и даже очень часто сворачивает с пути!

Ах, его лицо, принявшее мину Вольтера или Лессинга, иногда время от времени, принимает свои старые добрые присущие ему черты, лавровый венец гения часто падает с его головы и никогда магистр не имел более удрученного вида, никогда его движения не были более неловкими, чем тогда, когда он пытается подражать полету гения и глядеть пламенными очами гения. В том-то и заключается опасность, что он так легко одевается при нашем холодном солнце, и поэтому может простудиться гораздо легче и серьезнее, чем всякий другой. Кроме того все это, конечно, очень неприятно, потому что это замечают и другие, но если он хочет исцелиться, то следует ставить откровенный диагноз. У нас был Штраус, смелый, строгий и справедливый ученый, который был нам также симпатичен, как всякий, кто серьезно и энергично служит правде и умеет оставаться в своих рамках. Тот же, кто известен общественному мнению, как Давид Штраус, стал совсем иным, и теологи должны поставить себе в вину, что он так изменился. Его настоящая игра с маской гения нам так же ненавистна и смешна, как раньше его серьезность возбуждала серьезное отношение и симпатию. Когда он нам теперь объявляет, что "было бы неблагодарностью по отношению к моему гению, если бы я не желал радоваться, что я потерял вместе с даром беспощадной и придирчивой критики так же и спокойное художественное чутье к прекрасным образам", то ему следовало изумиться, что он дает это показание о себе людям, которые смотрят на вещи иначе, людям, которые убеждены, что он, во-первых, никогда не имел чувства к прекрасному, а, во-вторых, его так называемое чутье только спокойно. Такое заключение делают читатели как только они всесторонне рассмотрят и поймут глубокую и мощную натуру критика и ученого, т.е. личный гений Штрауса. В припадке безграничной честности Штраус еще прибавляет, что он всегда носил в себе призвание, которое говорило ему: "Таких пустяков ты никогда не должен делать, этим могут заниматься другие!" Это был голос настоящего гения Штрауса: он сам говорит ему, насколько ценно его настоящее мирное легковооруженное признание современного филистера. Это могут сделать и другие! И очень многие могут совершить гораздо лучше. И те, которые могли это сделать лучше всего, более богато одаренные, чем Штраус, могли бы сделать только безделицы.

Я думаю, что уже достаточно понятно, как я ценю писателя Штрауса, именно как актера, который играет наивного гения и классика. Когда Лихтенберг говорит в одном из своих сочинений: "У писателя должна быть ценами простота, потому что настоящий творец никогда не старается быть художественным и не мудрствует", - то простота не есть еще доказательство действительной способности творить. Я желал бы, чтобы писатель Штраус был честнее, тогда он будет лучше писать, но будет менее известен. С другой стороны, я пожелал бы ему, если он непременно хочет быть актером, чтобы он был хорошим актером и лучше подражал бы наивному гению и классику, как

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org следует писать классически и гениально. Еще остается сказать, что Штраус дурной актер и ничего несостоящий стилист.

## 11

Прорицание "дурной писатель" растлевает потому, что в Германии очень трудно быть порядочным и уравновешенным, и до невероятности удивительно трудно стать хорошим писателем. Здесь существует недостаток естественного основания художественной оценки, оборотов и выражений речи. Так как она во всех своих внешних проявлениях, парламентская речь, не приобрела еще национального стиля и даже потребности в стиле, и так как все, что говорят в Германии, не выходит из рамок наивных опытов языка, то у писателя нет никакой определенной нормы и он имеет полное право обращаться с языком по своему собственному усмотрению. Что же должно принести в будущем это растление, не имеющее границ, в немецком языке настоящего времени, растление, которое самым художественным образом обрисовано Шопенгауэром: "Если так будет продолжаться, - говорит он, - то в 1900 году немецкие классики не будут более правильно понимаемы, так как никто не будет знать иного языка, кроме "жаргона жуликов" славного настоящего времени", основной характер которого есть бессилие. Действительно, теперь немецкие ценители языка и грамматики дают понять в современных изданиях, что для настоящего времени наши классики не могут служить более образцами для нашего стиля, так как у них встречается масса слов, выражений и синтаксических оборотов, нами уже утраченных, почему и следует собирать фигурные обороты речи письменных и устных произведения различных знаменитых писателей и давать их как образцы для подражания, как это, например, сделано в позорном лексиконе Зандера, составленного слишком поверхностно. В этом отношении классиком является чудовище, по своему стилю, - Гутцков. Поэтому мы должны, очевидно, привыкнуть к совершенно новой и поразительной толпе классиков, в числе которых первым или, по крайней мере, одним из первых стоит Штраус, и которого мы не может обрисовать иначе, чем мы это сделали, т.е. как ничего настоящего стилиста.

Особенно важно описать по отношению к этой псевдокультуре филистера, каким образом он понимает классиков и образцовых писателей, он, который показывает свою силу, защищая только строго художественный стиль и, упорствуя в этой защите, он приходит к соответству выражений, которое имеет вид единства стиля. Возможно ли, что при этих неограниченных опытах, которые каждый производит над языком, все-таки некоторые авторы находят общий тон. Что же звучит здесь так обще? Прежде всего, отрицательное свойство: обилие непристойностей, непристойно же все то, что действительно продуктивно. Лишнее в том, что читает каждый немец, заключается без сомнения на страницах газет и даже тех повременных изданий, в которых немец слышит одни и те же обороты и слова, похожие, как две капли воды, друг на друга. Он проводит за этим чтением большую часть времени, причем его разум не расположен ничего опровергнуть, так что его слух совершенно свыкается с этим ежедневным немецким языком и только впоследствии с болью замечает свое уклонение.

Фабриканты же этих газет совершенно соответствуют своему занятию и вполне привыкли к грязи этого газетного языка, так как они потеряли всякий нравственный вкус, и их язык воспринимает все самое испорченное и порочное с особым удовольствием.

Отсюда ясно то единогласие, с которым поднимают голос, вопреки общему, расслабленному и болезненному состоянию, при каждой вновь найденной грамматической ошибке: такими пороками, как бы мстят языку за невероятную скучу, которая в большинстве случаев вводит в издергки своих же наемников. Мне вспоминается, как я читал воззвание Бертольда Ауэрбаха к немецкому народу, воззвание, которое в каждом обороте написано и изложено не по-немецки и все целиком похоже на бездушную мозаику слов с международным синтаксисом; о позорном южно-германском языке, на котором торжественно спрятывал тризну о Мендельсоне Эдуард Деврен, конечно, следует умолчать. Следовательно, стилистическая ошибка, а это особенно замечательно, не считается нашим филистером за нечто отвратительное, но принимается, как прекрасное освежение, лишенной травы и деревьев пустыни немецкой повседневной жизни. Но отвратительно ему все, действительно, производительное. У новейшего образцового писателя совершенно особенный, приподнятый или измочаленный синтаксис, его смешными неологизмами не пренебрегают, но ставят в заслугу как нечто пикантное. Горе тому характерному стилисту, который так же серьезно и твердо уступает будничным

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org явлениям жизни, как по словам Шопенгауэра, "высаженному в последнее время чудовищу современного бумагомарания". Если все плоское, использованное, бессильное, обыденное принимается как общее правило, все дурное и испорченное как исключение, полное прелести, то все, имеющее внутреннюю силу и красоту, все необыденное находится в пренебрежении, так что в будущем Германии повторится та художественная история о путешественнике, который приходит в землю горбатых и с которым повсюду обходятся ужасным образом из-за его стройной фигуры и недостатка в горбе, пока, наконец, один священник не принял в нем участия и не обратился к народу с такою речью: "друзья, лучше пожалейте бедного чужеземца и принесите благодарственную жертву богине разума за то, что она вас украсила статной горой мяса".

Если бы кто-нибудь желал составить положительную грамматику современного всемирного стиля немецкого языка, и следовал бы правилам, которые, как ненаписанные и невысказанные, но требующие подражания, приказания изощряют свою власть на письменном страже всякого, то он напал бы на удивительное представление о стиле и риторике, заимствованных еще из школьных воспоминаний или из давнишнего времени принуждения к латинским упражнениям в стиле или, может быть, из чтения французских писателей, над незрелостью которых всякий мало-мальски образованный француз имеет право смеяться. Относительно этих удивительных представлений, под главенством которых так скромно живет и пишет каждый германец, кажется, еще никто из основательных людей-немцев не думал.

Мы находим требование, чтобы в сочинении от времени до времени являлась картина или сравнение, но это сравнение должно быть ново. Слово же "ново" и "модно" для мозга убогого писателя равнозначны и поэтому он мучается над тем, чтобы извлечь свои сравнения из железных дорог, телеграфов, паровых машин и биржи, и гордится тем, что подобные картины новы, потому что модны. В книге признаний Штрауса мы находим также дань модным сравнениям. На протяжении полутора страниц он развертывает изображение модного исправления улиц, сравнивает, несколько страниц выше, мир с машиной и ее колесами, штампами, молотами и с ее "капающим маслом". "Обед, который начинается с шампанского". "Кант, - как заведение для холодных купаний". "Швейцарская союзная конституция относится к английской так, как водяная мельница к паровой машине, как вальс или песня к фуге или симфонии". "В каждой аппеляции и должны содержаться два пункта остановок. Средний пункт между единичною личностью и человечеством - есть нация". "Если мы хотим узнать, жив ли организм, который нам кажется мертвым, то мы пробуем это крепким и причиняющим боль щипком или даже уколом". "Религиозная область человеческой души похожа на область американских краснокожих". "Проставить под ситом полными цифрами итог всему бывшему до сих пор". "ТеорияDarвина похожа на едва намеченное полотно железной дороги, где весело разеваются по воздуху флагги". Подобным образом, даже и очень модно, отвечает Штраус филистерским требованиям, что от времени до времени должно вводить сравнение.

Очень широко поставлено и второе требование риторики, именно то, что все дидактическое должно развиваться в длинных предложениях и к тому же в отвлеченных, тогда как доказывающие противное короткие предложения и следующие за другим контрасты действительнее, если коротки. У Штрауса есть одно образцовое предложение, заимствованное из сочинений Шлейермахера и продвигающееся с быстротой черепахи. "Из того положения, что когда на древних ступенях религии вместо одной первопричины было много, вместо одного Бога множество богов, религия, после этого отклонения, приходит к тому, что всевозможные силы природы и жизненные проявления, возбуждающие в человеке дурное чувство зависимости, вначале имеют на него дурное влияние во всем своем разнообразии, и он не сознает какой-либо разницы между этими зависимостями, ни того, почему эта зависимость или бытие, раз она возвращается к прежнему существованию, должна быть одна".

Противоположный пример коротких фраз и деланной живости, пример, который так вдохновил некоторых читателей Штрауса, что они сравнивают его только с Лессингом, звучит так: "То, что я думаю вывести в будущем, в том я вполне уверен, именно что бесчисленное множество людей знает это хорошо, а некоторые даже лучше. Некоторые даже уже высказывали. Должен ли я умолчать об этом? Я думаю, что нет. Ведь мы все дополняем друг друга. Если один знает многое лучше меня, то я некоторое кое-что и понимаю иначе, и смотрю на вещи иначе, чем остальные. Итак, раз уже сказано, то покажи свою окраску, чтобы я мог судить, настоящая ли она". Между этими молодецки быстрым маршем и той походкой полного благоговения похоронной процессии держится обыкновенно стиль Штрауса. Но не всегда между двумя пороками живет

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org добродетель, но даже очень, часто только слабость и жалкое бессилие.

На самом деле я разочаровался в поисках в книге Штрауса за тонкими и полными мысли чертами и оборотами и напрасно при готовил рублику, чтобы то там, то здесь похвалить что-либо в Штраусе, как в писателе, раз уж я н нашел в нем, как в исповеднике, ничего достойного похвалы. Я искал, искал, а моя рубрика все-таки осталась пуста. Зато наполнилась другая, под заглавием: стилистические ошибки, вводящие в заблуждение образы, безвкусица и бессвязность, и наполнилась так, что я только потом могу решиться сделать известный выбор из моего огромного собрания образцов. Может быть, мне удастся в этой рубрике сопоставить как раз то, что у другого немца, думающего противоположно, пробуждает мысли о великом, полном прелести, стилисте - Штраусе.

Есть курьезы и в выражениях, которые, если и не неприятны на всем сухом и пыльном пустые книги, то все-таки они болезненно и страшно изумляют. Мы замечаем, пользуясь сравнением самого Штрауса, в таких местах, по меньшей мере, то, что мы еще не умерли и после подобного укола все еще реагируем. Все же лишнее есть недостаток всего странного, т.е. всего продуктивного, недостаток, который теперь приписывают писателю-прозаику как положительное качество. Наружная гниль и сухость, действительно дошедшая до голода, пробуждает теперь в образованной массе ненормальный прием, как будто она-то именно и служила признаком здоровья, так что здесь имеет силу именно то, что автор называет *dialogus de oratoribus*. Потому-то они ненавидят совершенно инстинктивно всякое "здоровье", что оно дает показание о совсем ином " здоровье", чем ихнее; потому-то и стараются навлечь подозрение на это " здоровье", на твердую достоверность, на огненную силу движений, на полноту и упругость мускульной системы. Они условились извращать природу и именно природу фактов, и заранее говорить о " здоровье" там, где мы видим слабость, а о болезни и переутомлении, где навстречу нам выступает " здоровье". Вот чего стоит Штраус, как писатель-классик. Если бы его состояние разложения было строго логическим разложением, нор именно эта "слабость" и породила отказ от простоты и строгости изложения и в их власти сам язык сделался нелогичным. Попробуйте только перевести этот штраусовский стиль на латинский язык, что вполне возможно сделать даже с Кантом и удобно и превосходно с Шопенгауэром! Причина того, что дело не идет на лад со штраусовским немецким языком, заключается, вероятно не в том, что этот немецкий язык более немецкий, чем у этих писателей, но в том, что он у него запутан и нелогичен, а у них полон простоты и величья.

Если кто знает, как трудились старые писатели, чтобы научиться писать и говорить, как не трудятся новые, тот сознает, что Шопенгауэр справедливо сказал о действительном облегчении, если немецкая книга так старательно отделана, что ее можно перевести на все другие языки, как древние так и новые. Он говорит: "Потому что у этих людей я имею язык, действительно точно изученный, при этом твердо установленную и тщательно проверенную грамматику и орфографию и весь отдаюсь мысли. В немецком же языке, каждый раз как мне что-либо не дает покоя, это только мудрствования писателя, который хочет настоять на своих грамматических и орфографических мечтах и уродливых причудах. При этом меня раздражает нагло напыщенная глупость. Просто горько видеть, как обходятся невежды и ослы с прекрасным, старым, обладающим классическими сочинениями языком".

Так взвывает к вам Шопенгауэр в своем святом гневе и вы не должны говорить, что вас не предупредили. Кто же не желает слушать никаких предупреждений и в худшем случае желает задуматься над верованиями классического писателя Штрауса, тому остается еще один совет - подражать ему. Попробуйте себе на горе, вы будете еще каяться и вашим стилем, и, наконец, даже своей собственной головой, так как и на вас исполняются слова индийской мудрости: "Грызть рога коровы бесполезно и сокращает жизнь. Зубы стираются, а соку все-таки не добьешься".

12

Предложим, наконец, нашему классическому прозаику обещанное собрание образцов стиля, которые, может быть, Шопенгауэр назвал бы совсем иначе, а именно: "Новые образцы жаргона современных жуликов". Правда, давиду Штраусу может служить еще утешением, если это для него может еще служить утешением, что теперь весь мир так пишет и, даже еще хуже, что между слепыми и косой король. Правда, мы оказываем ему слишком много, если оставляем ему и один глаз, но это только потому, что Штраус не пишет так, как нечестивы губители

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org немецкого языка - гегелианцы и их общее потомство.

Штраус, по меньшей мере, желает выбраться из этого болота, и отчасти, ему это удается, но все-таки он далеко не на твердой почве. У него замечается еще одно, именно он в юности заикался, как Гегель; тогда он что-то вывихнул себе и вытянул какой-то мускул; тогда его ухо, как ухо мальчика, выросшего подле барабана, отупело настолько, что он уже больше не слышит художественно-тонких и, в то же время, сильных переходов звука, под владычеством которых живет писатель, воспитанный на хороших образцах и под строгим присмотром. При этом как стилист он потерял все, что имел лучшего, и на всю жизнь осужден оставаться в опасном наносном песке газетного стиля, если он не хочет снова вернуться в гегелевское болото. Несмотря на это, он, в настоящее время, сделался известным на несколько часов и, может быть, известны еще и позднейшие часы, когда он стал знаменитостью, а затем наступает ночь, а с ней и забвение. И уже в настоящий момент, когда мы вписываем его стилистические ошибки в черную книгу, начинается падение его славы. Потому что тот, кто осквернил немецкий язык, тот осквернил тайну немецкого духа. Однако, этот язык спасся через смешение и перемену национальности и древних обычаяв и при помощи немецкого духа, как при помощи метафизического колдуна. Он один гарантирует сохранение духа в будущем, если сам не погибнет от безбожных рук настоящего. Прочь толстокожее животное! Прочь! Это немецкий язык, на котором выражались люди, пели великие поэты и писали знаменитые мыслители.

Руки прочь! Возьмем, например, одно предложение из штраусовской книги: "Уже в расцвете своих сил римский католицизм признал, что вся его духовная и светская власть диктатора собирается в руках папы, объявленного непогрешимым". Под этой неряшливой оболочкой находятся различные положения, которые совсем не подходят одно к другому и несовместимы. Кто-нибудь может, каким-либо образом, дать понять, что он собирает свою силу или вручает ее какому-нибудь диктатору, но он не может диктаторски собрать ее в других руках? Если мы скажем о католицизме, что он диктаторски собирает свою власть, то сам он сравнивается с диктатором. Но очевидно, здесь сам непогрешимый папа сравнивается с диктатором и, только вследствие неправильности мысли и недостатка литературного чутья, дополнение попадает на неправильное место. Чтобы почувствовать бессмыслицу оборотов я позволю себе подсказать следующее упрощенное выражение: господин собирает вожжи в руке своего кучера. "Противоположность между прежним консисториальным правлением и стремлением к синодальному правлению зависит от иерархической последовательности с одной стороны и от демократической с другой, но в основе все-таки лежит догматически-религиозное различие"!

Более непонятно нельзя выразиться. Во-первых, мы имеем противоположность между правлением и несомненным стремлением, в основе же этой противоположности лежит религиозное различие и это-то различие зависит, с одной стороны, от иерархической, с другой, от демократической последовательности. Загадка: что лежит между двумя другими в основе третьего. "Дни, хотя это непонятно, вставлены рассказчиком, как в раму, между утром и вечером и т.д." Я предлагаю вам перевести это на латинский язык, чтобы узнать, каким бесстыдным образом вы обходитесь с языком. Дни, которые вставлены в раму! Рассказчиком?! Непостижимо! И вставлены в раму между чем?!

"Относительно заблуждающихся и противоречивых суждений, ложных мнений и доказательств, не может в Библии быть и речи". Это сказано в высшей степени безобразно. Вы смешиваете "в Библии" и "у Библии". Первое выражение должно бы иметь место перед "может", второе после "может". Я думаю, вы желали сказать: "относительно заблуждающихся и противоречивых ложных мнений и доказательств, находящихся в Библии, не может быть и речи".

Не так ли? Если же Библия, это вы, то тогда... "у Библии не может быть речи". А для того, чтобы не ставить одно за другим "в Библии" и "у Библии", вы решили писать на жargonе жуликов и смешивать предлоги. Подобную ошибку вы допускаете на стр. 20: "Компиляции собраны вместе в более старые произведения". Вы думаете, "обработаны в более старые произведения" или "компиляции, в которых обработаны более старые произведения". На той же странице вы выражаетесь студенческим оборотом: "Дидактическая поэма, которая помещена некстати, в конце концов, много теряет, а затем угрожает быть опровергнутой, даже с колкостями, посредством которых стараются смягчить ее грубость".

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org  
Я попал в неприятное положение, не имея возможности отдать себе отчета, что такое это нечто жестокое, что смягчается колкостями; Штраус даже говорит об остротах, смягчаемых колотушками.

Стр. 35: "В противоположность Вольтеру там, здесь был Самуил Герман Реймарус, безусловно типичный для обеих наций". Человек может быть типичным только для одной нации и не может быть типичным для двух, представляя из себя противоположность другому человеку.

Стр. 46 "Nunstand es aber nur wenige Jahre an nach Schleiermacher's Tode, das..." для подобного пачкуна расположение слов не представляет никакого затруднения, так как здесь слова: "nach Schleiermacher's Tode" стоят неправильно, именно после "an", тогда как они должны стоять перед "an". Это также звучит для их грубых ушей, как если бы вместо "пока" сказать там, где это нужно, "что". Стр. 13: "из всех оттенков, которыми отливает современное христианство, мы можем толковать лишь о внешнем, самом ярком, о том, можем ли мы исповедовать его". На вопрос, о чем толкуют, может быть, во-первых, один ответ - о том-то и о том-то, или во-вторых, можем ли мы и т.д. Употребление сразу обеих конструкций показывает только негодного подмастерья. Он хотел сказать больше, именно, "принимая в соображение одну внешнюю сторону, мы можем толковать о том, можем ли мы его исповедовать". Но очевидно предлоги в немецком языке ставятся только там, где их нельзя избежать. На стр. 358, например, наш классик смешивает обороты, чтобы убедить нас в этой необходимости. Эти обороты: "Книга толкует о чем-либо" и "Речь идет о..." и поэтому поводу мы должны выслушать следующее предложение: "При этом нам неясно, идет ли речь о внутреннем или наружном геройстве, борьбе в открытом поле или в глубине души". Стр. 343: "В наш нервный век, когда становится очевидной эта болезнь музыкальных отрицаний...". Ужасное смешение понятий - "быть очевидным" и "высказать". Подобных исправителей языка, без всякого различия, следует сечь, как школьников.

Стр. 111: "Существенная принадлежность личного божества падает". Подумайте же вы, бумагомаратель, прежде чем пачкать бумагу. Я думаю, что чернила должны покраснеть, если ими намарать о молитве, что она должна быть "принадлежностью" и кроме того еще "принадлежностью падения". А что находится на стр. 134: "Некоторые из волевых импульсов, которые древний человек прописывал своим божествам - я хочу привести, как пример, возможность самого быстрого измерения объема - он принял на себя, следуя рациональному владычеству над природой".

Кто затягивает на нас этот узел? Хорошо, древний человек приписывает богам волевые импульсы; над этими волевыми импульсами следует хорошенъко подумать! Штраус думает приблизительно так: человек принял за основание, что боги действительно обладают всем тем, чем желал бы обладать и от. Итак, боги имеют свойства, которые недоступны людям, следовательно, почти волевые импульсы.

Затем человек принимает на себя согласно учению Штрауса некоторые из этих побуждений. Это уже совершенно темное происшествие, такое же темное, как изображенное на стр. 135: "желание должно стремиться дать людям возможность с выгодой увернуться от этой зависимости самим кратчайшим путем". - "Зависимость", - "возможность увернуться", "кратчайший путь", "желание, которое стремится!". Горе тому, кто действительно пожелал бы увидеть такой акт! Это просто картишка из книги для слепых. Ее нужно ощупать... Новый пример (стр. 222): "Поднимающееся и, со своим подъемом, выступающее над отдельными случаями упадка направления этого движения"... Или еще более сильный (стр. 120): "Последнее направление Канта увидело, как нам кажется, что оно дошло до цели стремления, принужденное направиться одним вершком дальше за пределами поля будущей жизни".

Кто не осел, тот не найдет дороги в подобном тумане.

"Направление, выступающее над упадком!"; "Возможность выгодно увернуться на кратчайшем пути!"; "Возможность, которая должна направиться одним вершком за пределами поля!". Какого поля?! - "Поля будущей жизни!" Черт возьми всю топографию! Свету! Свету! Где же нить Ариадны в этом лабиринте? Нет, никто не должен позволять себе писать так, будь это самый знаменитый прозаик, а тем не менее человек, "с вполне зрелым религиозным и нравственным образом мыслей". (Стр. 50). Я думаю, что старику следовало бы знать, что язык это наследие, получаемое от предков и оставляемое потомками наследие, к

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org которому нужно относиться со страхом и уважением, как к чему-то священному, неоценимому и недоступному для оскорблений. Перестали ли слышать ваши уши, так переспросите, загляните в словарь, употребляйте хорошую грамматику, но не смеите так грешить среди белого дня. Как должно затрагивать нас, когда подобное толстокожее животное употребляет новоизобретенные или бесформенные старые слова, когда говорит "о сравнивающем уме социал-демократии"; как будто бы это был Себастиан Франко, или когда он в одном обороте подражает Ивану Заксу: "Народы угодны Богу, т.е. они суть натуральной формы, в которых человечество передает себя бытию и от которых всякий разумный не должен отворачиваться, и которых ни один храбрый не должен отрицать"

Стр. 252: "Человеческий род различается по расам, сообразно с известными законами". "Препятствие к проезду!"

Штраус не замечает, зачем являются лохмотья в его покрытых плесенью произведениях. Всякий, правда, замечает, что подобные обороты и лохмотья украдены. Не наш портной, ставящий латки то там, то здесь, является в виде творца и сочиняет по-своему новые слова. На стр. 221 он говорит о "разворачивающейся и выжимающейся вперед жизни"; это выражение "выжимать" употребляется прачками или героем, который, окончив битву, умирает.

"Выжимать" в значении "разворачиваться", это немецкий язык Штрауса, так же как и: "Ступени и стадии развертывания и свертывания". Это детский немецкий лепет: "В заключительности - вместо в заключение". Стр. 137: "В ежедневных страданиях средневекового Христа, религиозный элемент более энергично и непрерывисто дошел до просьбы". "Непрерывистые" - это образцовая сравнительная степень, как и сам Штраус образцовый прозаик. Он даже употребляет невозможное "совершеннее".

А это "до просьбы"! Откуда это, отчаянный вы художник языка? Я лично не могу понять, что здесь может помочь. Мне не представляется никакой аналогии. Если бы спросили самих братьев Гримм об этом, то и они бы молчали, как могила. Вы, конечно, думаете только вот что: "Религиозный элемент высказывается деятельней", - т.е вы опять путаете предлоги так, что волосы становятся дыбом от невежества; смешивать понятия: "высказывать" и "просить" - носит отпечаток простолюдина. Не конфузит ли вас то, что я открыто делаю вам выговор.

(стр. 220): "Так как я за моим субъективным понятием слышал еще и объективное, которое доносилось из бесконечной дали".

С вашим слухом происходит что-то редкое и дурное. Вы слышите как "звучит понятие" и звучит даже "за" другим понятием, и такое "ощущаемое слухом понятие" должно звучать "из бесконечной дали". Это бессмыслица или простонародное "канонирское сравнение".

(стр.183): "Эти внешние очертания теории даны уже здесь, также вставлены некоторые пружины, которые устанавливают внутреннее движение ее". Это или бессмыслица, или неподходящее сравнение позументщика! На что годился бы тюфяк, который состоит из очертаний и вставленных пружин, которые устанавливают его внутреннее движение. Мы сомневаемся в теории Штрауса, раскрываемой перед нами, и должны бы сказать о ней то, что уже однажды сказал сам Штраус. (Стр.175): "Для правильной жизненности недостает ей еще многих существенных средних членов". Итак, пожалуйте еще и члены!.. Очертания и пружины уже там, кожа и мускулы уже препарированы, но все еще недостает многоного для правильной жизненности или, выражаясь по Штраусу, "не так предупредительно", - мы скажем: "Если непосредственно сталкиваются два таких разнообразных по своей оценке явления, причем не принимаются во внимание ни средние грации, ни средние расстояния". (Стр. 174): "Но можно и не иметь места, а все-таки не лежать на полу". Мы отлично понимаем вас, господин легко вооруженный магистр. Действительно, тот, кто не стоит и не лежит, тот летает, может быть парит, или поражает. Если вы предполагали высказать нечто иное, чем порхание, как позволяет предположить общий смысл, то я на вашем месте, выбрал бы иное сравнение, а это выражает нечто иное. (Стр. 5): "Ветви старого дерева, которые сделались общеизвестно сухими". Какой общеизвестно сухой стиль! (Стр. 6):

"Нельзя отказать непогрешимому папе в уважении, требуемом необходимостью". Ни за какие деньги не следует смешивать падежа дательного и винительного; даже для мальчика это ошибка, а для образцового прозаика преступление. На стр. 8 мы находим: "Новое изображение новой организации в идеальных

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org элементах жизни народа". А предположим, что такая бессмысленная тавтология вылилась из чернильницы на бумагу, но тогда ее не следует позволять печатать. Разве можно не заметить подобного в корректуре, и еще в корректуре 6-ти изданий. Далее (стр. 9), если цитируют слова Шиллера, то по возможности точно, а не приблизительно. Этого требует должное уважение. Итак, оно должно звучать: "Не страшась ничьей зависти" (Стр. 16): "Потому что тогда она сейчас же будет заперта на замок, окружена преграждающими стенами, против которых направлено со страстным неудовольствием все стремление прогрессирующего разума и всех таранов критики". "Здесь мы должны кое о чем подумать. Во-первых, об этом "замке", а, во-вторых, о "стенах", к которым стремятся тараны со страстным нежеланием, или даже "направляется стремление со страстным нежеланием". Да говорите же вы по-человечески, раз вы живете с людьми!.. Тараны направляются кем-либо, а не сами собой, и только тот, кто их направляет, может иметь страстное нежелание, хотя едва ли кто-либо будет иметь такое нежелание против стены. (Стр. 226): "Почему подобный слог образовал арену для демократической тупости". Это неясно! Слог не может образовать арены, но только выезжать на подобной арене, Штраус, может быть, желал сказать: "Почему эти исторические моменты всех эпох сделались излюбленной ареной демократических речей и глупости". (Стр. 320): "Внутренний смысл щедро и богато одаренного струнами поэтического призыва, для которого возвращение к милому домашнему очагу честной любви было постоянной потребностью, при широкой деятельности, требованиях поэзии и стремлении к природе, при его общении с государственными интересами". Я затрудняюсь вообразить призвание, которое, подобно арфе, снабжено струнами и при этом имеет "широкую деятельность". Это какое-то несущееся во всю прыть призвание, которое мчится, как вороной сказочный конь, и потом возвращается к мирному очагу. Ведь я прав, если считаю это несущееся во всю прыть и возвращающееся к домашнему очагу призвание, призвание, занимающееся политикой, оригинальным и настолько же оригинальным и вышедшим из употребления, насколько невозможно "поэтическое призвание, снаженное струнами". По таким одухотворенным изображениям или абсурдам можно познать классического прозаика". (Стр. 74): "Если мы откроем глаза и пожелаем честно признаться в находке этого откровения". В этом превосходном обороте ничто так не бросается в глаза, как это сопоставление "находки" со словами "честно". Если кто-нибудь находит что-либо и не отдает, не признается в находке, то это нечестно. Штраус поступает наоборот и считает необходимым открыто хвалить это и признаваться. "Но кто же бранит его", как спросил один спартанец. Штраусу делается еще веселее. Вдруг мы видим "трех гениальных мастеров, из которых каждый следующий стоит на плечах предшественников". (Стр. 361): Это действительно образец высшей школы верховой езды, которые нам дают Гайдн, Моцарт и Бетховен. Мы видим Бетховена, как он, подобно лошади (стр. 356) перепрыгивает рогатку только что проведенной вымощенной улицы (beschlagen - подкованный). Может ли мы представить это себе? Правда, мы до сих пор знали, что подкованной может быть лишь лошадь. Так же звучит: "Роскошный парник для грабежей и убийств" (стр. 287). Кроме этих чудес, является еще "чудо, осужденное декретом на изгнание" (стр. 176). внезапно являются кометы (стр. 164), но Штраус успокаивает нас: "При слабых народцах кометы не может быть никакой речи о Бетховене". Действительно, это утешение, потому что, иначе, при слабом народце, принимая в соображение жителей, нельзя ни за что поручиться. Между прочим новое зрелище: Штраус сам "вьется" орколо национального чувства человечности (стр. 258), в то время как другой "все время скользит вниз к демократии" (стр. 267). Вниз! да, не вверх! Молит наш артист языка, который на стр. 269 действительно должно утверждает, что "к органическому строению принадлежит действительное благородство". В высшей сфере движутся, непостижимо высоко, над нами явления, заслуживающие внимания. Например: "Израсходование спиритуалистических предвзятостей человека, законов природы" (стр. 201) или: "Оправдание недоступности". На стр. 241 разыгрывается опасная драма, где "борьба за существование в царстве зверей будет оставлена вследствие достаточности". На стр. 359 удивительным образом "подскакивает человеческий голос при инструментальной музыке". А каким чудом открывается дверь, (стр. 177): Она "выбрасывается в невозвратное".... (стр. 123): "Взгляд во время смерти видит, как весь человек, как он есть, погибает". Никогда еще до Штрауса, этого укротителя языка, взгляд не видел, но мы дожили до его ряда и готовы теперь это ценить. Только впервые мы узнали и о том, что "наше чувство реагирует для вселенной, когда оно повреждено и реагирует религиозно". По этому поводу мы вспоминаем о соответствующей процедуре...

Мы уже знаем, каково возбуждающее средство, дающее возможность увидеть "выдающиеся фигуры", хотя бы, по меньшей мере, по колено; и почтаем себя

Ницше Фридрих Несвоевременные размышления Давид Шираус, исповедник и писатель filosoff.org счастливыми за то, что мы отнеслись правдоподобно к классическому прозаику, хотя и с ограничениями его взглядов.

Говоря честно, все то, что мы видели, было только "глиняные ноги", и что-то, что казалось натуральным цветом тела, было только раскрашенной глиной. Конечно, культура филистеров в Германии будет рассержена, если будут говорить о размалеванных истуканах там, где они видят живого Бога. Кто же осмелится опровергнуть их образы, тому следует серьезно опасаться говорить им в лицо из боязни их гнева, потому что они разучились различать жизнь от смерти, действительное от мнимого, оригинальное от поддельного, и Бога от идолов, и то, что их здоровый человеческий инстинкт к действительному и справедливому совершенно потерян. Сама культура склоняется к упадку и уже теперь падают черты ее владычества, уже теперь, падает ее пурпурная мантия, а когда падает пурпур, то за ним и герцог. На этом я оканчиваю свои разоблачения. Эти разоблачения принадлежат одному, а что может сделать один против целого света, даже если его голос слышен повсюду? Его при говор будет тоже состоять в том, чтобы украсить вас даже слишком пышно перьями страуса (Штрауса?), "согласно такому же количеству субъективной правды, как без нее объективная бывает неопровергимой". Не правда ли, мои друзья? Поэтому будьте все-таки полны бодрости духа; когда-нибудь вы будете иметь по меньшей мере результаты вашего "относительно такого же количества, как и без него". Когда-нибудь! Именно тогда, когда будет несовременным делать то, что считается всегда современным, а теперь более чем когда-либо необходимо говорить правду.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!